Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Выходит с июня 1955 г.
№ 6 (786) 2021

unost.org
юность.рф

ЮНОСТЬ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Редакция журнала
“Юность”»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Редакция журнала
“Юность”»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати № 112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправлений:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедымин
Сергей Гловюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Костров
Нина Краснова
Татьяна Кузовлева
Евгений Лесин
Юрий Поляков
Георгий Пряхин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей Шаргунов
Вячеслав Коновалов
Яна Кухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАКЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченкова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Редакция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.
Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.
Формат: 60×84/8
Заказ №

«ЮНОСТЬ»
© С. Красаускас. 1962 г.

На 1-й и 4-й страницах
обложки
рисунки Алисы Бошко
«Женщина в поле»
и «Мост»

4 СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
«СОЧУВСТВИЕ ТАИНСТВЕННЫМ ПЕРЕЛИВАМ»

ПОЭЗИЯ

16 ВАДИМ МЕСЯЦ

20 ВЛАДИМИР СПЕКТОР

22 КСЕНИЯ УВАРОВА

24 КСЕНИЯ САВИНА

ПРОЗА

28 МИХАИЛ БОЙКО
ТЕХНОПАРК

35 ОЛЬГА ПТИЦЕВА
ПРО БАРЫНЮ-СУДАРЫНЮ И ПЕСЦОВ
ПРО ЧУЖИЕ СТУЛЬЯ И КРАЙ МИРА
ПРО ЧЕРНУЮ ЯГОДУ ШИКШУ

49 НАТАЛИЯ ОСОЯНУ
ЗМЕЙ

70 ДМИТРИЙ БОЛОТНИКОВ
ПТИЦЫ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДАХ

79 АНДРЕЙ УБОГИЙ
БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ

86 АННА ВАРТИК
ДОМ КЛАВДИИ

99 АНДРЕЙ САМОХИН
КОГДА СЫГРАЕТ АНГЕЛ

103 ЮРИЙ ПОРОЙКОВ
ПОПУТЧИЦА

СЕМИНАР АНАТОЛИЯ КОРОЛЕВА В ЛИТИНСТИТУТЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

120 ВАЛЕНТИНА МАЛЕЦ
ИВАНОВ ДЕНЬ

123 ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВА
ХОРОШАЯ КВАРТИРА

126 МАРИЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
ЛИДОЧКА

«СОЧУВСТВИЕ ТАИНСТВЕННЫМ ПЕРЕЛИВАМ»

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

Лихоносова надо читать нараспев.

«Ласково-летний» – его выражение, простое, но уводящее в сказку. Россия Лихоносова всегда ласково-летняя.

Вместе с тем по интонации и той манере изложения от первого лица, когда важнее всего подтекст, внутренний изящный сюжет, это, пожалуй, очень европейская, не самая типичная для нас проза.

Если среди литераторов его поколения и «патриотического круга» особенно сильна тоска по близкому и знакомому Союзу, Лихоносов с начала 60-х и по сию пору незлобиво, но упрямо верен предыдущей России, ее еще называют исторической, от которой почти и следа нет.

Он, словно медиум, общается с ее духом, и сама его литература, если читать хоть полчаса, внимательно и не отрываясь, вводит в странный потусторонний транс.

Эти страницы словно бы пересыпаны серебристой пылью дороги, по которой проскакал казачий разъезд и сгинул в утреннем тумане.

Но пыль помнит. Легкая светлая память о том, что когда-то было так горячо.

Есть ощущение, что тайна долголетия и молодцеватости Лихоносова – в особой изначальной тяге к старине и старикам.

Да, в его молодой и зрелой прозе всегда много стариков, через которых он пытался нащупать образ былого, а в ровесниках высматривал черты их предков, а теперь грустит, что люди и вовсе «переродились».

Так, о трогательных стариках – дебютный новомирский рассказ «Брянские», который «светится», по выражению Твардовского. А в эпопее «Наш маленький Париж» (где перемешаны казачьи голоса, документы, письма, пейзажи, лирические отступления и упразднены условности романного канона) – главный поводырь в таинственное прошлое слепой старец-станичник с палочкой.

Один из сюжетов лихоносовской судьбы – странствие. Родители бежали из голодного воронежского села в Донбасс, затем в Сибирь. Выросший на Оби, он перебрался на Кубань. И опыт этот как будто дал ему тихую силу собирать русских людей, оказавшихся в рассеянии.

Какая-то медиумическая отзывчивость, настроенность на душевный резонанс, которая позволяет милосердно, летне-ласково обнимать просторы и всех своих. Друзьям он говорит: «Далеко вы порою бывали, но с утра до вечера жили со мной на русской земле, где дышали и думали».

Это из повести «Люблю тебя светло».

Три слова, быть может, главные для его литературы.

Отзывчивость не просто всероссийская, а общерусская, недаром с надеждой ответили на его нежный зов последние старцы литературного зарубежья – Борис Зайцев и Георгий Адамович, хвалившие за отсутствие фальши и природную естественность. И заволновались, посылая советскому писателю сердечные весточки, доживавшие свой век на чужбине казаки…

Перекличка, перезвон русских голосов – тоже заслуга Лихоносова. Теми же словами, что и эмигранты, о щемящей грусти его прозы заговорили и по нашу сторону границы Юрий Казаков и Валентин Распутин.

Говорят, решившись писать свою главную книгу, он удалился из мира на десять лет, назанимав у кого мог денег. Получив Госпремию РСФСР, всю ее раздал, возвращая долги.

А вот свежее 2021 года письмо Виктора Ивановича краснодарскому губернатору: «Как и к прежним юбилеям, не выйдет из печати ни одной моей книги. Вместо них будет скороспешно провозглашено в красных телеграммах, что я являюсь “гордостью культуры” и внес “выдающийся вклад в…” то-то и то-то. И уже тридцать лет признается только моя фамилия, а труды мои кажутся необязательными, не весьма нужными. Но перед юбилеем (возможно, последним) я думаю не о просьбе насчет издания книг. Меня беспокоит сохранность и наследование моих домашних архивов…»

«Необязательность» – меткое слово. Похвала себе.

В торопливых глазах многих эта плавная и неброская, ненавязчивая проза проиграет не только ловким современным сочинениям, но и, допустим, каким-нибудь хлестким скетчам и панчам из телеграм-каналов. И вроде бы все меньше тех, кто хочет глубоко читать Лихоносова, а еще можно назвать десятки значимых затененных писательских имен… Но проза эта по каким-то загадочным законам, верю, останется и переживет нас, в то время как упражнения стольких актуальных острословов, помножившись, на следующее утро превращаются в ноль, оставляя лишь дурное послевкусие.

Мы идем с ним по пригретой дороге. Высокий и прямой, он летит, постукивая своей палочкой. Степь пахнет горьковато-сладко, и голос его такой же – надтреснутый и хриплый, но добрый и тягучий. На груди у него большой фотоаппарат, на который он, зажав палочку коленями, снимает в домашний альбом друзей и первых встречных, кур, собак, небо, метелки ковыля…

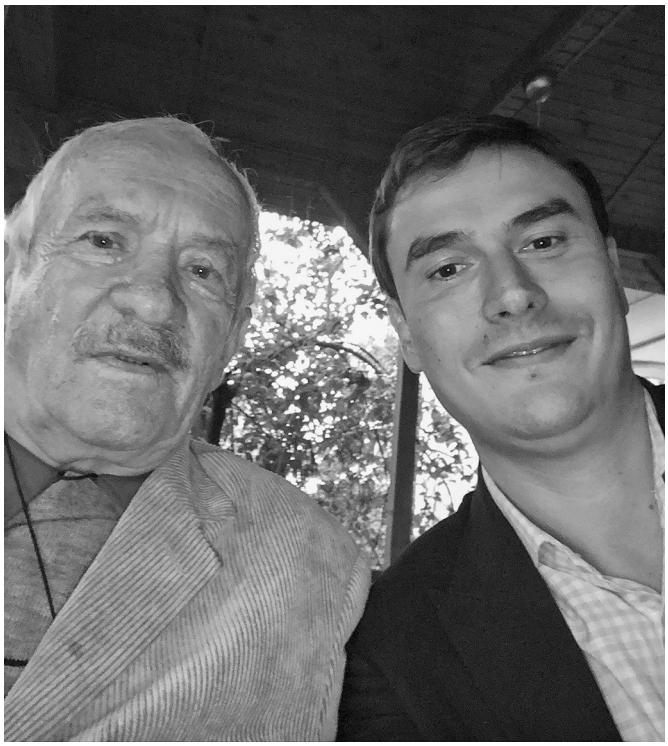
Он говорит что-то простодушное, настоящее, и я заглядываю в его лицо, желая запомнить навек эту зачарованную полуулыбку, седую подкову усов, эти синие сощуренные глаза и косую морщину на переносице, как от удара клинком.

– Вы родились в Сибири, а перебрались на Кубань.

– Я и матушку перевез…

– А если бы не переехали…

– Если бы я жил в Новосибирске, я бы написал «Наш большой Харбин» *(Смеется.)* В общем, люблю Харбин.



Как всегда, я люблю то, где не бывал никогда. У меня дядя туда входил с войсками в 1945 году. Видел наших эмигрантов там. Я помню, как он привез матушке китайские платочки и блузочки шелковые.

– Русская эмиграция, в том числе казачья, тепло приняла ваш роман о Екатеринодаре. А на нашей земле вы застали тех, кого можно отнести к исконному казачеству?

– Да, я застал тех, которые называются «рэпаный казак», то есть настоящий.

– Кондовый, старый…

– Да, да… Это последние были. Вот когда роман вышел, уже почти никого из них не было.

– «Мой маленький Париж» начинается с того, что к вам из отдаленной станицы все время приходит полуслепой старичок, которому девяносто пять лет, и рассказывает новые и новые подробности казачьего быта. Он существовал?

– Да, конечно же. Нашелся такой старик, и я ходил не только в архив, но и вслед за ним по дворам и станицам и выпытывал. Это были те, у которых сохранялись еще вековые понятия, да, вековые понятия…

Он был для меня главным откровением, мой Попсуйшапка, мой старичок, Василий Афанасьевич. Он родился еще при Александре III, а в газетах можно было прочитать, что еще жив человек, который видел Наполеона. Вот в чем смысл моего романа! О протекании века человеческого.

Он меня просто интонацией взял, натурой своей. И я сразу потонул в той старине. Он чем поражал: он придет к нам, жена моя начнет его кормить. «Ложка… Вот такая ложка у моего тестя Ревенка была!..» Или: «Масло, ну масло. А моя мать как вот спустится в погреб, да достанет масло, так я б того масла и сейчас съел».

Он умер в один день с Шолоховым, в 1984 году, на 102-м году жизни. Собственно, я думаю, что если бы его не было, то не было бы и у меня такого вдохновения и такого сказочного удивления об этом исчезнувшем бытии, об этой старине, об этом городе, об этой загадке.

– Но если бы и не Шолохов…

– Да, вы знаете. Шолохов – это то, с чего все началось. Пробуждение, будем так говорить, литературной души. Без его совета вряд ли бы и поехал в кубанскую станицу. Это его звезда, Шолохова, притянула меня к старикам, о которых мой первый рассказ, и милосердная глубина «Тихого Дона» помогала роману о казаках.

Я писал о том, что уже все забыли фактически. Одни забыли, потому что просто молчали, другие забыли от разочарования, что некому рассказывать об этом, никому это не нужно.

А после, когда понадевали черкески и вроде бы стали возрождаться с пылом, уже той опоры, какую даже я имел, не имели, потому что умерли знающие люди.

Самый большой недостаток и печаль в том, что сейчас уже не могут поклониться родной старине так, как надо бы поклониться.

Да, в крайнем случае кто-то еще способен поклониться горю коллективизации, когда по лопухам умирали и ссылали в Сибирь. Наши геологи были где-то в Саянах, вышел из лесу изможденный человек, говорит: «А я Литви́ненко, станица Пашковская. Когда будете там, передайте, что видели меня…» А есть фотография, он сидит на коне, гвардеец, конвой его величества. Породу перевели…

Мой поклон среди прочих графу Феликсу Николаевичу Сумарокову-Эльстону. Знаете такого? Наказной атаман Кубанского казачьего войска. Я в его имении жил, начинал свою педагогическую деятельность. Вот это величина. А как сейчас относятся к слишком многим, называющим себя казаками?

– Порой насмешливо.

– Раз над тобой посмеиваются или недоверчиво смотрят, говорят «ряженый», надо самому преобразиться. Так, чтобы, когда один даже казак входит в трамвай, все чувствовали, что это вошел другой человек. Какой-то подтянутый, серьезный, вежливый, благородный. Такой, какими были офицеры, служившие у государя императора. Когда офицер шел, все оглядывались на него, ну, особенно молодежь. И вот надо было с этого настроения начинать попытки возрождения и с поклонов предкам.

Ведь изумительны их ушедшие образы, та канувшая навсегда Россия, и дворянская, и священническая, и купеческая, и простонародная, и воинская…

Солоухин мне говорил: «Нет уже русского народа». Это не значит, что нет уже правда русского народа, – есть. Но я понимаю, о чем он говорил. Современный наш человек и на Кубани, и везде немножко переродившийся.

В том самом менталитете – не люблю это слово, – который существовал веками, кое-что жутко потеряно. Тот же московский распев, который был у Бориса Зайцева. В 67-м Юрий Казаков побывал у него в Париже, а потом включал мне магнитофонную запись. Это не театральный колорит, как кто-то решит, нет, это больше.

Надо бы понять, что не только писателю нужно волшебное чувство загадки и близости к древности нашей русской, но и… Да всем это нужно. Чувство, чисто поэтическое даже, к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Шолохову и казачьим героям, гвардейским, георгиевским кавалерам, наказным атаманам…

– Поэтическое чувство – это же про вашу прозу.

– Это от матери. Я не знаю, дорогой Сережа… Я вообще, наверное, потому и начал писать, что душа волновалась. Я не головой пишу.

– Вы себя перечитываете?

– Знаешь, вчера вдруг стал кое-что читать, как впервые, и чувствую: действительно, музыка есть. А я забыл этот текст уже. Некоторые, вот Евгений Носов, напишут – и чуть ли не весь текст в уме, и помнит все. А я когда нахожу свое написанное, дивлюсь: «Когда, как это я писал? Я бы так не написал». Вот

это плетение, какие-то душевные аккорды, все идет нечаянно. И если ты их не записал, ты восстановить не можешь, не можешь…

Смысл общий ты помнишь, но если этот же текст ты захочешь воспроизвести, это уже будет другой текст. Это не значит, что я совсем безумный, – нет, конечно, не совсем, но как-то вот так. *(Смеется.)*

– О чем вспоминается? Что пишется?

– О матери. Ну я как-то знаешь, Сереж, тяну, боюсь расстаться с тем, чем я живу, понимаешь? Мне так жалко дописывать, потому что я расстанусь, и тогда будет мне совсем плохо без матери, о которой пишу. Не просто о матери – о нашей жизни, о том, как жизнь прошла, как прошла жизнь…

– А родители кем были?

– Отец железнодорожником был, погиб на фронте, а мать малограмотной, корову держала, вот и все. Перед смертью она сказала: «Умру, так напишите на доске, что я “мать писателя”». Так и написано.

Я приехал в ее деревню Елизаветино, и ночью где-то у Осыкина пруда включил диктофон с ее голосом, и слушал ее рассказы о пережитом.

У меня повесть про мать и про послевоенную жизнь «На долгую память». У Твардовского есть запись: «Стал читать Лихоносова и до конца не мог оторваться. Какой молодец!» Он читал ту самую повесть, которую у него печатали под другим заголовком «На улице Широкой».

Для меня это удивление большое, я с большим смущением отношусь к таким похвалам.

Я не хочу называться писателем. Я все время нахожусь в роли студента того времени, когда начинал. Да, это не прошло до сих пор.

– Твардовский напечатал и любил ваших «Брянских».

– Вспоминаю его в «Новом мире», он выходит вместе с ответсеком Борисом Заксом, а я захожу. Они меня увидели и со мной возвращаются, Твардовский говорит: «Да вы снимайте пальто и бросайте на мое…» Говорим, и уютно, как в сельской избе, как дома…

Тот рассказ «Брянские» появился от переживаний, от впечатлительности, от того, что хотел как-то закрепить то, что так было дорого. Когда уехал от знакомых стариков, мне так стало их не хватать, так жалко, и я вот взял и всего на четыре странички написал. Фазиль Искандер потом говорит: «Это что, первый рассказ?» Я говорю: «Да».

А я любил очень Юрия Казакова. Я был студентом и его читал. И он же меня вытащил. Я написал ему и с каким-то трепетом послал три рассказа. А он был выпивающий человек, иногда рассеянный. Мог быть небрежным просто. И он так прилежно мне отвечал, неизвестному учителю из-под Анапы! Потом я уже поехал к нему в Тарусу, а потом так подружились.

– Каким он был?

– Ну как всегда бывает, ты представляешь его по прозе немножко нежнее и ласковее, да, благодушнее… Ну грубоватый такой, тем более выпивал. Так: «Ш-ш-ш… Ш-ш-ш… Старичок, ты тут мне книг понадавал, чтоб я тебя, старик, проклинал! Знаешь, – и матерком еще так. – Ты мне больше не дари!» *(Смеется.)*

Так вот, это он меня сразу понес в журналы. И вдруг в ноябре месяце получаю телеграмму от Михаила Рощина из «Нового мира»: «Не прыгайте до потолка, рассказ “Брянские” стоит в 11-м номере».

Я-то думаю, что если бы с самого начала, как у многих, были преткновения какие-то, то, возможно, я бы просто смутился и не стал заниматься литературой. Несмотря на все мои чувства и впечатлительность, все могло бы потонуть. Просто я потом по жизни это знаю, как я смущался порой даже в присутствии самых серых людей. Которые умеют себя вести и подавать.

Господь Бог расположил, что я напечатался-то в «Новом мире», где был сразу окружен очень заметными людьми, и они меня понесли. Казаков, Домбровский…

А дальше, когда я написал «Люблю тебя светло», подсоединился и Белов. Понимаешь, да? Они как-то меня укрепили в том, что я не последний человек на земле.

Меня очень поддерживал Юрий Васильевич Бондарев. Когда меня начали ругать, заступался: «Он так видит». Я у него дома бывал, с Олегом Михайловым ездили. У Леонова я сидел, обедали, я его боялся. У меня даже есть письмо от Леонова про «Осень в Тамани».

И знаешь, я вовсю уже печатался и перестал учительствовать, но мне больше всего хотелось, чтобы меня считала писателем моя малограмотная матушка, Татьяна Андреевна. Я об этом пишу и вспоминаю: не то чтобы там хвасталась мною на каждом углу, а потихоньку радовала бы себя тем, что не зря после гибели отца на фронте так старалась поднять меня, выучить…

– Считается, что в «Люблю тебя светло» Домбровский запечатлен под именем Ярослава Юрьевича, пьющего, щедрого, талантливого, трагичного.

– Да, там много Домбровского. Даже его вдова Клара включила отрывок в книгу о нем. Но там и Казаков есть. Все-таки это их силуэты. Оттолкнувшись от друзей, я полетел…

Домбровского, конечно, вспоминаю. Открытый, добрейший, помню, в одних тапочках провожал меня на вокзал. Помнится, он горько плакал, когда умер Шукшин. В чем-то он был не от мира сего, но совсем не лунатик. Несмотря на свою ученость и книжность, очень жизненный, я бы сказал, сочный человек, прекрасно и точно говорил и писал, всегда чувствовал правду. О годах в лагерях он говорил как-то эпически.

– К вашим книгам писали послесловия Распутин и Астафьев.

– Я никогда не забуду, молодость, общежитие, мы сидим, болтаем, Славка Шугаев блажит, а Валя Распутин у батареи скромно, как какой-то плохой начинающий писатель, сидит и молчит. И я потом осознал: это не только писатель хороший, это великий человек…

С Астафьевым все разладилось в 93-м году, когда он подписал «Письмо сорока двух» в поддержку расстрела. В это время, в 20-х числах октября, хитрый Кремль организовал поездку по Средиземному морю русской интеллигенции: артисты, оркестр, писатели… Залыгин составлял списки, мы с Витей Потаниным едем поездом до Одессы, и я говорю: «Вить, а я к Астафьеву не буду подходить». И не подходил. Приехали в Одессу, погрузились на пароход, переночевали, проснулись, уже входим в Босфор, все вывалили на палубу, и только там первый раз поздоровались, и все. А потом, когда у него наступило семидесятилетие, в 1994 году, 1 мая я ему написал открыточку: «Виктор Петрович, вернись к старым друзьям». Я ему не говорил про политику ничего. Потом меня звали в Овсянку… Но я не поехал. Я как-то ему в душе этого всего не прощал…

Валя Распутин более к нему отнесся православно, может, и правильно…

– Расскажите о Шолохове.

– Первым к нему поехал Назаров Юра, народный артист, мой друг. Мы в Новосибирске жили, в одной школе учились, в одном драмкружке вместе в пьесах играли. Он поступил в театральный, а я нет, слава Богу. Я теперь говорю: «Господи, спасибо тебе, что ты не сделал меня артистом, спасибо тебе!» *(Смеется.)* Мы с ним просто боготворили Шолохова. Мы просыпались: Шолохов на земле есть…

Так же я и Бунина любил очень сильно. Я думаю, что сейчас вот такого обожествления кого-то нет.

Однажды я ехал по Кубани и в Миллерово вдруг сошел… Тогда же автобусов не было, полуторки ходили открытые: лавочки, 150 верст под солнцем, бабы, мужики. «Я студент, я к Шолохову». – «Студента посадите там, студента посадите, к Шолохову!» Донцы, они очень разговорчивые. Всю дорогу трясло, мужик говорил, солнце очень сильно припекло, а когда приехали, надо было переправляться… Такой канатный паромчик-то у них, на веслах. Я переправился. Тогда хоть ты и чужой человек, тебя пускали сразу. Пришел в какой-то дом: «Вот я к Шолохову, пустите ночевать». Пустили, кормили, поили дня четыре, наверное. А я все боялся к нему прийти. Зеленый забор перегораживает улицу и такая маленькая почему-то калиточка. Я все боялся туда идти.

Наконец, толкнул, калитка открылась. Я иду, иду, иду, иду, смотрю – он стоит на крыльце. Простая рубаха, нос обгорелый после рыбалки. «Скорее, скорее, скорее», – он мне говорит.

А я заросший, стиляга такой, у меня кудрявые-кудрявые волосы, загорелый совершенно, вообще забубенный какой-то парень. Ну и стал что-то бормотать. Он говорит приветливо, с юмором: «Ты свое что-нибудь пишешь? Нет? Ну и слава богу. Я бы тебя в колхоз послал, поработать». Простой и доступный…

– А Шукшина вы знали?

– Успел познакомиться. Я с ним разговаривал в «Нашем современнике». Стояли, курили. Родной, сердечный, задумчивый. Необычайно простой. В нем была необдуманная отзывчивость того поколения, тех, что жили душой. Если бы он еще сорок лет прожил, ну тридцать, это был бы самый большой писатель. И именно в год гибели он начинал так расти, он утончался душою. Все бы с него слиняло, кинематограф и все остальное, он вообще бы был как аристократ, тонкий. И вот гибель – это просто несчастье нашей жизни. Рубцов тоже на взлете умер.

– Ваш ответ с высоты лет: в России надо жить дольше?

– Детские мечты не покидают меня. Я начинаю про всех мечтать, сколько бы они прожили. Ну Пушкин, ну Господи, Пушкин, с ним можно просыпаться, засыпать и жалеть, что ему не было шестидесяти лет. Тютчев бы дожил до Александра III… Пушкину было бы слега за восемьдесят, и он бы при Александре III жил. И Толстой был бы другим…

Тютчев мало прожил, шестьдесят девять. Чудный Лермонтов совсем ничего… Вот так как-то вот, сидишь дома, мечтаешь. Для России так важно было, чтобы они жили долго, а этого не случилось.

Какой поворот, а? А это так важно для России. Эта мысль вообще важна для России.

– «Наш маленький Париж» вышел в 1987-м. Можно сказать, выход книги – тоже результат коримой вами перестройки?

– Ну действительно… Уже была вольность тайная какая-то на закате советской власти. Ее первыми почувствовали, эту тайную вольность, либералы.

Когда в издательстве «Советский писатель» книга готовилась, то ребята заголовок перевернули. Сверху: «Ненаписанные воспоминания». «Старик, ну ты понимаешь, а что в ЦК скажут?» А на следующий год, когда переиздавали, название вернули, уже стали стропила рушиться.

А Викулов в «Нашем современнике» печатать побоялся. «Белогвардейская вещь». Зато потом меня поздравлял с государственной премией…

– Ваше мнение: можно было дать свободу литературе, но при этом не потерять государство?

– Можно. Задумано-то было иначе. Наболтались бы о Сталине да о советской власти, но недра должны быть народными, вот и все.

Советская власть, она какая была? Она тебя била, а второй рукой давала квартиру. Мне жить было можно и писать именно в советское время. Ну идеоло-

гия-то была жесткая, чего тут говорить, глупая порой. Но у меня нигде в моих книгах никаких фальшивых слов нет… «У вас ни одного слова фальшивого», – это Георгий Адамович.

– Да, отдельный сюжет: ваша переписка с последними могиканами русского литературного зарубежья: Адамович, Зайцев…

– Я взбегал на третий этаж с внутренним криком: «От Бориса Константиновича! От Георгия Викторовича!», и мне, получавшему письма из Парижа, казалось, что они приходят из царской Москвы. Эти письма здорово укрепляли и ободряли. Но в казачьем-то городе и некому было их показать.

Я не думал, что я что-то преступное совершаю, совершенно наивно и простодушно вел переписку. С книгами от них было непросто. Зайцев отправил мне своего «Чехова» с дарственной надписью – не дошло. А был такой Александр Сионский, упрямый враг советской власти, сын загубленного священника, мы вели переписку, и он отправил мне через редакцию «Нового мира» два тома «Жизни Пушкина», автор кадетка Ариадна Тыркова-Вильямс, изданных YMCA-Press, и я их получил.

Я мечтал увидеться с этими моими дальними читателями, перед которыми преклонялся, хоть вечер провести. Но меня и раз, и другой в Париж не пустили. Обида моя уцелела в тетради: «Давно не было мне так горько, как в эту осень 71-го года. Никто не объяснил мне, почему повис надо мной карающий меч».

– Кроме них, вы общались и с другими русскими эмигрантами.

– Я застал людей, которые вернулись на родину при Хрущеве. Они жили в Краснодаре, один жил в Ростове.

А еще Иоанн, архиепископ Сан-Францисский, он же князь Дмитрий Шаховской, писал о том, какое ему удовольствие доставила моя книжница. Между прочим, в честь него назван герой рассказа Бунина «Митина любовь».

А в 1990-м я поехал с другими авторами в Америку. Мне было дороже всего, что везде русские… В Ново-Дивееве я был на могилах Романа Гуля и Александры Львовны Толстой. В Сан-Франциско я встретил мощного кубанского казака! И там же, в «Русском доме», меня поразила «Доска печали». На ней мелом писали, кого не стало, имена недавно ушедших… Я бы хотел так назвать свою книгу «Доска печали». Пусть это будет моя прощальная поэма.

Там, пообщавшись с еще живыми, я записал себе: «Мы недостойны вас». Они не так, как мы, ходили в церковь, все время в храм, по-старинному все соблюдали. А мы вольные в этом смысле… Но потом я понял: они для меня были возвышающим обманом. Ибо потом, когда они стали сюда приезжать, я немножко разочаровался.

– Почему?

– Стало ясно, что слишком многие филологически абсолютно отстают от советского человека. Как те же американцы. В библиотеки не ходят, ничего не знают. Ужас, слушай! Мы ругали сами себя, но в чем-то настолько были выше, понимаешь? Насколько более литературным было советское общество… Но они выше нас в другом – дух, традиция, а мы отцов своих почему-то не жалели.

У меня накопилось полторы тысячи страниц уникальных невероятных воспоминаний кубанцев: о жизни, о быте, о странствиях, о войнах. «Заветная книга». Но ее не издают, никому она не нужна – ни чиновникам, ни показным предводителям нынешнего казачества…

– Вы верующий?

– Я вырос в верующей семье. Но бабушка больше, чем матушка моя, была поколеблена гибелью отца на фронте. Как часто бывает в простонародье, обида на Бога, на то, что не спас. Она впрямую полагала, что Господь Бог не пожалел. Но праздники соблюдали, Пасху, все… Молодым я был человеком рассеянным

и, как говорится, в храм только заходил. А у Гроба Господня мы были вместе с Солоухиным, и я говорю: «Конечно, я не бабушка, конечно, я не бабушка…» При своих обидах на Бога она была к нему ближе. Та наивность народная, вера неграмотных выше веры грамотных. В силу какого-то поистине божеского, благотворного, благодатного испуга. На этом держалась Русь. И вот так же, как теряем звуки, и аканье, и оканье, теряем наивность и простодушие, что грозит миру большими неприятностями. Грамота нивочтоневерения, понимаешь? Цинизма, а иногда просто заскорузлости…

Жили-то вроде сообща, но одиноко в деревне, все время под звездами, а не под звуками телевизора и лучами интернета. Звезды тоже способствовали этому одиночеству в мире.

Сейчас скорости… Еду, а все время вспоминаю, о боже, как Лев Николаевич ездил, мне жалко Льва Николаевича. Ну как трясло-то, грязь, колеса ломались. Но он ехал, и звезды были, остановки, вода ключевая. Какой-то старик вышел, поговорили… Вчера я ехал в поезде из Краснодара, ты знаешь, весь вагон молчит. И так уже давно. А ведь я застал времена, когда весь вагон говорил.

– В гаджеты, в планшеты тыкаются.

– Ага. И теряется простодушие. Даже простодушие сердечной тишины. Но самое главное – люди становятся абсолютно неинтересны друг другу. Человек, изображенный на экране, интереснее, чем живой человек. Потому такая литература. А речь какая была, боже мой!.. Поезжайте в Брянскую, Орловскую, Вологодскую область, какая речь! А в некоторых местах же особо. Вот донцы – это самый словоохотливый народ был, не остановишь…

– Это печалит вас в сегодняшней России?

– Это и то, чего не хватает руководителям, – родства со своей землей.

Такого глубокого родства, которого много у настоящих писателей к великим писателям. Владимир Мономах, Александр Невский, Алексей Михайлович – за государственным столом имена их должны звучать и витать почаще: 635 лет или там 450 со дня вступления государя или великого князя… И новости об этом должны выходить! И в этом нет даже национализма, преувеличения своего народа… Просто такое священное напоминание, от кого тебе все досталось, и что были, были люди, которые строили эту землю и защищали.

Информация сама по себе – ерунда. Она меньше всего помогает качественному составу человеческого существа. Она должна идти рядом с сопереживанием человека.

Я должен Владимира Мономаха чувствовать как своего человека. И вот я бы начитал Владимира Мономаха для молодых. «Поучение детям».

– Хороший был бы подкаст.

– Весь свод древних текстов. Я своим ученикам в школе читал древние летописи и жития. Какой изумительный напев… Говорил, полушутя: «Выучите отрывочек из “Повести временных лет”, я вам пятерку поставлю»…

Перед написанием «Осени в Тамани» я годами зачитывался летописями. Великие князья, монахи, летописцы – очень важно соотносить свое существование с их судьбами и деяниями.

Или я прочитал недавно воспоминания Михаила Петровича Погодина, друга Пушкина, историка нашего, о том, как русские моряки в 1856 году возвращались из Севастополя в Москву. После поражения… Какой чудный текст, родной! Вот это надо читать-то в связи с Крымом и без Крыма даже.

– А какой он, русский характер?

– Конечно, большинству русского народа свойственно необыкновенное простодушие… Простодушие изумительное, оно очаровывает. Кроме этого, оно предполагает необыкновенную искренность и правду. Мы говорим, как испор-

тился наш человек, но как он замечательно становится древним, когда начинаются бои. Ну а необыкновенная стойкость… Просто в нашем народе есть то, что в какой-то час пик вдруг замечательно проявляется, замечательно. Именно старорусское, нажитое веками. Может быть, мы тот народ и есть, который расслабляется, нехорошо даже расслабляется, а потом он так собирается, что становится могучим, и прекрасным, и золотым даже, вот в чем дело.

Неприятель недооценил русский характер. Солоневич пишет об этом: по литературе немцы судили о русском человеке. В этом, кстати, беда русской литературы, что и она недооценила Россию. Даже гении наши. Ну какой Евгений Онегин, какой Печорин, ребята, вы что вообще?.. Только что кончилась война с Наполеоном. В этом смысле я обожаю Константина Леонтьева. Вот если бы он написал «Войну и мир», это бы был самый русский роман. Но не написал, о чем больше всего в стране жалеет Лихоносов.

– О чем вам чаще всего думается?

– Я часто повторяю наизусть «Таню» Бунина. *(Декламирует, прикрыв глаза.)* «Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках…»

– У вас прекрасная память.

– Не ждать ни сюжетов, ни проблем. Ничего этого не нужно. О спинах говорить, о калошах надо писать...

Лучше, чем жизнь, никто ничему не научит. Но есть сознание того, что вот они, кого ты читаешь, думали вот так же, как я вчера подумал. Он страдал, а больно-то ему как! – так же было…

По-моему, и простой читатель за это и любит, а не за сюжетные повороты какие-то. Главное – этот душевный отзвук, сочувствие таинственным переливам.

ПОЭЗИЯ

ВАДИМ МЕСЯЦ
Родился в 1964 году. Поэт, прозаик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер».

ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Газеты перешли в разряд макулатуры,
под навесным замком горбатится киоск,
но в сердце еще есть предчувствие культуры,
и в куполах церквей томится нежный мозг.

Сегодня жизнь моя застыла на обрыве,
почувствовав нутром начало пустоты,
и словно зверь стоит в обоссанной крапиве
и смотрит на тебя, как будто это ты.

И я, как будто я, стою посередине,
и с двух сторон горит то запад, то восток,
шмели летят гурьбой по ягоде-малине,
по проводам трусцой бежит электроток.

Товарищ, пробудись от глупости и лени,
иди через леса к любимой на огонь,
туда, где на крыльце дрожат ее колени
и капли от дождя – размерами с ладонь.

ЭПОС

Медсестра приходила ко мне в постель,
для меня она стала сестрой.
За окошком стояли сосна да ель,
а далее – сухостой.
И я погружался в аптечный чад
ее молодых телес.
Ей очень хотелось крикливых чад,
а мне – удалиться в лес.
Высокой в палате была кровать,
палата была как клеть.
Мария учила меня летать,
но не смогла залететь.

КВАРТИРАНТ

Котенок пахнет нафталином,
поскольку ночевал в шкафу.
И полночь, прячась за графином,
строчит последнюю графу.

Луна в окне на вид съедобна,
под стать светящимся хлебам,
во тьме ворочаясь загробно,
она тебе не по зубам.

И постоялец не выходит
из комнаты который год:
он в этом истину находит,
сравнив расходы и приход.

Лица его никто не помнит,
и лишь на вешалке кафтан,
его страданием наполнен,
напоминает, что он там.

Давай отважимся однажды,
преодолев ночную жуть,
в пылу познания и жажды
к замочной скважине прильнуть.

Мы там увидим люцифера
или печального вдовца,
в котором всколыхнулась вера
от обручального кольца.

И нам любить друг друга вечно
предписано и суждено.
Покуда жизнь бесчеловечна,
друзьям иного не дано.

Несметно бабкино наследство
из панталонов и чулок.
И дольше века длится детство,
качая темный потолок.

На четвереньках ищут черти
в ковре Кащееву иглу.
И мы сидим за миг до смерти
на красном пуфике в углу.

ПРИЮТ

Какая тьма
в казенные дома –
и в главный казематный дом входила –
и дверь темниц скрипела, как корма,
бессилием умноженная сила,
она была, как ночь, глухонема,
ущербна, будто девичья могила,
которой ни креста нет, ни холма.

Мы ждали ее вечером. К шести
Москва сжимала веки, словно в полночь.
Я слышал перезвон колоколов
и звон ключей, спешащих к нам на помощь.
Кого она могла тогда спасти?
Остались бы спасенные живыми?
Никто ответить правды не готов.

Я оставлял надежды сотни раз,
чтоб выжить под твоим печальным взглядом,
пока твой взгляд навечно не погас.
Нет никого, кто ранее был рядом.
Я тыкался в подушки, бестолков,
делился с кем-то скверным самосадом,
искал впотьмах детей и стариков.

Зачем все это, если ты придешь
и на рассвете скажешь мое имя.
И приговор, объявленный другими.
И слово изреченное есть ложь.
Во тьме есть свет. Она превыше света.
И люди поглощают этот свет.
Прочитана вчерашняя газета,
а утренней еще в помине нет.

Есть ночь, что избегают волк и пес.
И жмутся вместе к мусорному баку.
Им не хватает божьего тепла.
Я задохнусь от вымысла и слез,
но вычислю тебя по зодиаку,
по линиям морозного стекла.

Сиротские дома обречены,
как от причала сорванные лодки.
Ребенок, обрамленный сединой,
ты перебрал любви и тишины,
от страха выпил слишком много водки.
И дремлешь под померкнувшей луной
чернильной головой в воде речной.

КАРАНТИН

Я остаюсь в тифозном лазарете,
Ты собери наряды – и на юг.
Там волны шепчут о бескрайнем лете.
А на причале ждет прекрасный друг.

Чем здесь мне ты, любимая, поможешь.
Повсюду мрак, тоска и карантин.
И средь больных поверженных ничтожеств
я остаюсь спасительно один.

Мне без тебя ни холодно, ни жарко.
Я удивлен, что счастлив был с тобой.
Не надо ни бутылки, ни подарка,
ни красочной открытки голубой.

РЕГУЛИРОВЩИК СВЕТА

ВЛАДИМИР СПЕКТОР
Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт. Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы. Лауреат нескольких литературных премий. С 2015 года живет в Германии.

* * *

Дым воспоминаний разъедает глаза.
Память о доме, как воздух, закачана в душу.
Дом пионеров. Салют! Кто против? Кто за?
– Ты ведь не струсишь поднять свою руку? – Не струшу.

Трусить – не трусить… Любишь вишневый компот?
Помнишь рубиновый цвет и обманчивость вкуса?
Память с трудом отдает. Но зато как поет…
Дым превращая в дыханье. А минусы – в плюсы…

* * *

Едем, едем… Кто-то кружит.
Кто – петляет по спирали.
И следит – не сесть бы в лужу,
Чтобы вдруг не обогнали.
А дорога-то щербата.
Проезжаем чьи-то даты,
Чьи-то хаты, казематы…
В небе скачет конь крылатый.
А дорога – не цветами,
Вся усыпана камнями,
Изборождена следами,
И пропитана веками, и годами,
и часами…
И слезами вся дорога,
Как святой водой, умыта.
Скользко. Смотрят все под ноги.
Сеют звезды через сито.
В спешке звезд не замечают.
Звезды падают на землю.
А дорога мчится дальше.
А из звезд растут деревья.

* * *

Выжить… Отдать, получить, накормить.
Сделать… Успеть, дотерпеть, не сорваться.
Жизни вибрирует тонкая нить,
Бьется, как жилка на горле паяца.

Выжить, найти, не забыть, не предать…
Не заклинанье, не просьба, не мантра.
Завтра все снова начнется опять.
Это – всего лишь заданье на завтра.

КСЕНИЯ УВАРОВА
Родилась в 1982 году в Москве. Редактор радио «Культура», преподаватель французского языка.

* * *

У Центрального дома культуры ВОС
горят цветные фонарики,
флажками завешен газетный киоск,
продают воздушные шарики.
Рядом кустов невиданных роз
красно-белые варианты
сажают волшебники страны Оз
для будущей Иоланты.
Под усталым серебряным веком
заиграет ее хрусталик,
окрасив в серый металлик
разговор с соседним отсеком.
А пока из открытых дверей
звонко доносится кличка,
весело лает Орфей,
вышла его Эвридичка.
Вдоль пустой березовой рощи,
по дорожкам раскопанным, длинным,
идут без оптической помощи,
но с близости чувством звериным.

* * *

это, правда, грустно,
слишком плохо кончилось,
но могло же так не повезти –
посмотреть в глаза убитого животного
к земному раю на полпути.
это было в праздник Курбан-байрам,
когда голос, ласковый, как закат,
сквозь окно обратился: Девушка-джан,
пропусти меня в левый ряд.

* * *

Машинист на Площади Революции
дольше держит вагон метро,
чтобы люди потрогали нос собаки и курицу,
простого рабочего золотое ружье.
Радость впитывает гранит,
отражает улыбки потертый металл,
пока над головой не раскрыли синий фильтр
и холодным теплый свет не стал.
Пассажиры довольные едут в поезде,
их увозящем в черный проем,
над которым по-прежнему обозначено действие,
единицей молот и серп нулем.

КСЕНИЯ САВИНА
Поэт, верлибрист
из Санкт-Петербурга.
Религиовед, преподаватель-
исследователь.

* * *

Сизифов труд вершат
Дорожные службы
И зимой, и летом.
Все равно ни пройти
Ни проехать,
Не развеять душу.

Городскому извозу
Доверю свое тело,
Лишь бы летело,
Лишь бы к стеклу
Прислонившись виском,
Надышало себе
Теплоты.

В нашем Аиде бывает
Кончен рабочий день!

* * *

В такие ночи надо
Обнимать любимых,
Но что мне делать,
Если они не любимы.
В такие минуты
Нужно кого-то прижать
И к кому-то прижаться.
Но время мое все равно
Ни с кем не разделить,
Не располовинить.
Однажды уйду, легка,
Как строка,
Ускользнувшая после сна.
Уйду, а этому дому оставлю
Слезы, и все они мне зачтутся.

* * *

Пусть крутит в легких
Шальной воздух –
Жить будет,
Кого безо всякой пощады душат.

Кто рвется жить – будет,
Сквозь строй бед,
Через бед толчею
Пройдет лихо, без вреда
Для себя, без страха.

Потому что бедой,
Что крестильной водой,
Новорожденным
Был обмыт
И по жизни своей, будто по той воде,
Уверенно идет.

ПРОЗА

ТЕХНОПАРК

МИХАИЛ БОЙКО
Родился в 1979 году в Москве. Прозаик, литературный критик, философ, кандидат искусствоведения. Окончил физический факультет МГУ, проходил срочную службу в ВС РФ. Член Союза писателей Москвы. Автор десяти книг, в том числе двух монографий, шести критических сборников и двух сборников рассказов: «Аннигилингус» (2010) и «Вся правда о...» (2020). Работал заместителем ответственного редактора «НГ-Ex libris» (2006–2012), последние годы занимается преподаванием.

Местная растительность была ему, по правде говоря, безразлична, потому что не обладала тем тонким, болезненным обаянием, какое таят в себе жалкие, чахлые деревца, с трудом растущие на городских окраинах.

Жорис-Карл Гюисманс

От автора

В конце 1990-х я работал курьером в маленькой московской фирме, оказывавшей юридические услуги. Поощрением за хорошую работу нам служили дальние командировки, и я с юношеским пылом их добивался. Мне еще не удалось повидать мир, и я страстно коллекционировал жизненные впечатления.

Первой была командировка в Якутию, с которой я превосходно справился. Во второй раз меня отправили на завод под Питером (название завода в рассказе изменено). Нужно было заключить договор на поставку конвейерных лент. Это мне не удалось, и пришлось уволиться. Но вторая командировка – самая примечательная драгоценность в моей коллекции.

У предлагаемой истории нет никакого философского или морального подтекста, только та незатейливая мысль, что даже «радклифианские» и «кафкианские» замки не могут соперничать по таинственности и мрачности с мегалитами советской техносферы. Странно, что ни одно из таких мест не увековечено в современных романах. Я могу это объяснить только нелюбопытством современных литераторов и, может быть, чувством вины, которое вызывали у них люди, продолжавшие в то время работать на умирающих предприятиях. Впрочем, индустриальных заповедников такого рода наверняка уже нет, – они остались там, в далеких 1990-х годах.

* * *

Перед тем как войти, я для приличия подвернул разорванный рукав демисезонной куртки. Дверь оглушительно хлопнула.

– Извините! – Я уперся в турникет. – Есть здесь кто-нибудь?

Не дождался ответа, ударил костяшками пальцев по фанерной перегородке.

Стеклышко в окошке вахтера задребезжало – противно и визгливо, как голос кляузника. Но голос действительно прозвучал.

– Что вам? – уже разборчивей переспросил вахтер, и стеклышко отъехало в сторону.

Из любопытства я попытался просунуть в окошко голову.

За перегородкой стоял седовласый мужчина в телогрейке канареечного цвета и омывающими движениями грел руки над самодельным калорифером. На запачканной бумаге поверх горизонтального стеллажа с прорезями для пропусков лежали куски черной пористой резины. Это были длинные мазкие ленты, похожие на обугленных угрей. Воняло старыми покрышками. Откуда-то сверху доносилось неясное бормотание радио, передавали не то сводку новостей, не то прогноз погоды.

– Это проходная Заврезтехизда?

Мой голос почему-то тоже звучал неприятно и незнакомо – трескуче и сипло.

– А? – Вахтер повернулся к окошку.
– Здесь находится проходная завода резинотехнических изделий? – стараясь скрыть раздражение, повторил я.
– А ты кто? – насторожился вахтер.
– Я к замдиректора Сукису Валентину Николаевичу.
– Может быть, Скулису?

Проснулась неуверенность, я вытянул из нагрудного кармана бумажку и сверился.

– Ой, извините, Скулису.
– Вам заказан пропуск?
– Да, должен быть! Не подскажете, где бюро пропусков?
– Снаружи, соседняя дверь направо.

Я вышел, натолкнулся на запертую дверь и, вернувшись, с порога объявил:

– Там закрыто!
– Конечно, закрыто! Они до двух работают. Кто будет работать за такие деньги? Может быть, ты?
– Почему я?
– Потому что если ты хочешь работать за гроши, тебе в отдел кадров, снаружи соседняя дверь налево. Но там тоже закрыто. Нужно с утра приходить.
– У меня договор о поставке конвейерных лент. Я договорился о встрече со Скулисом.
– Зачем тебе ленты? Смотри! – всплеснул руками старик. – У меня есть ремни клиновые, ремни вентиляторные, уплотнители для автомобилей, все по договорной цене! Вот эти резиновые коврики – пятьдесят рублей, резиновые сапоги – сто рублей!
– Да не нужны мне сапоги!
– И как же ты собираешься пройти туда без сапог? – усмехнулся вахтер и мотнул седой головой. – Туда, безумец, и без сапог?
– Позвонить хотя бы можно?
– Телефон в бюро пропусков.
– Ну, позвоните сами!
– Молодой человек, это ваша проблема! – Вахтер потянулся к облупленному телефонному аппарату и приподнял болтающуюся под трубкой пеструю косу проводов.

Телефон, очевидно, не работал.

– Хорошо, я буду ждать здесь, у турникета! – Я развернулся и замер перед доской объявлений.
– Да жди сколько угодно! Испугал! – пробурчал вахтер и захлопнул окошко.

* * *

Прошло полчаса. Мне показалось, что я проснулся в узком пространстве между дверью и турникетом. От обстоятельного бормотания радио из-за перегородки болела голова.

– Да выключите вы, наконец, это радио? – вдруг вспылил я. – Или включите погромче! Ни слова не понятно в этом бубнеже!

Окошко распахнулось.

– Не разрешается. Но ты прислушайся! Черти! Опять все топят в дерьме! – причитал вахтер, помешивая ложкой в кружке. – Чая хочешь?
– Нет, спасибо.

Дверь проходной хлопнула. Вошел скуластый мужчина средних лет в сером ратиновом пальто и выжидающе остановился:

– Молодой человек, разрешите пройти!
– Проходите, ради бога! Кто вам мешает? – отпрянул я.
– Добрый день!
– Добрый день! – поздоровался вахтер.

Провернулся турникет. Хлопнула задняя дверь.

– Что ж вы у него не спросили пропуск? – не выдержал я.
– Что ж, я не знаю Скулиса? А вот ты не знаешь! А еще говоришь, с договором пришел!
– Слушайте, вы пожалеете!

У меня получилось просунуть в окошко руку и ударить по стеллажу, но я тут же отдернул ее, стыдясь рваного рукава.

– Да ты не кипятись! А то сейчас милицию вызову.
– Как же! У вас телефон не работает! – съязвил я.
– А тревожная кнопка на что, олух?
– Я не олух!

Вахтер неторопливо залил кипятком пакетик чая.

– Послушай, – сказал он, и по интонации было заметно, что он смягчился. – Мне надо отойти в туалет, а он в соседнем корпусе. Веди себя тихо. Если кто подойдет, скажи, что я скоро

Откровенно говоря, я был настолько заворожен этим строением, что несколько раз обошел корпус кругом. В нем не было входа – только окна, заложенные кирпичом, и металлические ступени цвета жженой умбры, ведущие к двери на втором этаже.

буду. Потом я тебя пропущу. И ищи хоть Скулиса, хоть Сукиса.

– А если я, не дождавшись, пройду?

– Да проходи, ради бога. Только на выход, пожалуйста, с разрешением, подписанным комендантом и директором!

– Ладно, – согласился я и встал, гордо облокотившись на турникет.

Вахтер выбросил чайный пакетик в урну и, причмокивая, стал пить.

– Значит, никого не пускать, понял? – Старик освободил на столе место для пустой чашки и выдернул из розетки калорифер. – Пойдем, Монте-Кристо!

Из-за калорифера выполз огромный пятнистый кот и, громко чихая «Иф! Иф!», поплелся за хозяином.

– Эх, Россия, гнилосоломная страна! А ведь я был Паганини монтажа! – донеслось из коридора.

Краем глаза я видел, как два силуэта – канареечный и пятнистый – исчезли за дверью.

* * *

Прошло, наверное, полчаса. Дважды в зарешеченном окне мелькнула рогатая тень троллейбуса. Наконец я не выдержал, перелез через турникет и вылетел во двор. В ноздри ударил запах краски и сырого камня – приторно-сладковатый, как трупное разложение кирпича и бетона.

Внутренний двор представлял собой ровную прямоугольную площадку, заполненную чавкающей грязью. Посреди площадки голуби доклевывали горбушку. Голые, черные от сажи тополя, склонившись над деревянным настилом, образовывали что-то вроде аллеи, ведущей от проходной к отдаленным корпусам. Метрах в тридцати настил причудливо заворачивал, огибая наполовину затонувшую в грязи автоцистерну.

Осторожно ступая по раскисшей от влаги, продавливающейся древесине, я направился к самому крупному строению. Откровенно говоря, я был настолько заворожен этим строением, что несколько раз обошел корпус кругом. В нем не было входа – только окна, заложенные кирпичом, и металлические ступени цвета жженой умбры, ведущие к двери на втором этаже.

Под лестницей невыносимо пахло мочой. Превозмогая отвращение, я стал взбираться.

Площадка, на которой я оказался, дрожала, как корзина воздушного шара. Поскользнувшись, я вцепился в перила, но тут же отдернул руки: прутья текли ржавчиной, как бурое мороженое. На зарешеченной двери болтался замок. Тщательно вытерев руки носовым платком, я стал спускаться.

* * *

Не доходя до следующего строения, деревянный настил резко сворачивал к группе индустриальных мегалитов. Я покорно свернул и вскоре вышел к деревянному мосту. Под мостом протекал мелкий ручей, рассекающий территорию завода на две части. Вдали, у забора, горела резина, и вверх к суконному небу поднимался черный гриб, похожий на мантию духа огня.

Я зажал нос, сделал несколько шагов и вдруг за мостом слева от настила увидел еле заметную тропку из притопленных в грязи покоробленных досок. Дощатые «рельсы» кратчайшим путем вели к зданию, более всего напоминающему административный корпус. И я свернул с настила.

Отсыревшие доски с хлюпом били по воде, выстреливая шрапнелью брызг. Джинсы с каждым шагом чернели и тяжелели.

Через десять минут ходьбы впереди замаячил корпус, представлявший собой несомненное исключение на фоне мрачных собратьев.

От корпуса мне навстречу шел мужчина в ватной куртке с мешком за спиной, из которого выпирала резина. Разойтись на двух узких досках было невозможно.

Но я напрасно переживал. За несколько метров мужчина в высоких сапогах вежливо шагнул в грязь и уступил дорогу.

– Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как мне найти Валентина Николаевича Скулиса? – обратился я к нему.
– Скулиса? – произнес тот с мечтательной интонацией, с которой впечатлительный юноша произносит имя Виолетта.
– Заместителя директора.
– Ах, замдиректора, – опомнился мужчина и стал внимательно рассматривать меня, заслоняясь рукой от низкого солнца. – Идите к Марье Павловне.
– А кто такая Марья Павловна?
– А это его жена, она у нас главный бухгалтер. Знаете, где бухгалтерия?
– Не-ет.
– Вот здесь, в этом корпусе, на втором этаже.
– Спасибо.
– Дойдете?
– А бывает, что не доходят? – улыбнулся я.
– Всякое возможно. Вот упадете в грязь, будете барахтаться, а там коллекторы. А то пойдемте со мной, донесем до костра мешок с резиной, и я вас проведу…
– Дойду, я недавно из Якутии. Там вечная мерзлота!
– В Якутии хорошо! – Рабочий взвалил мешок на спину, прочавкал несколько метров по грязи и снова заковылял по доскам.

* * *

Хотел бы я отыскать исследователя, способного раскрыть генезис удивительного строения, представшего мне. Огромный параллелепипед из кирпича цвета переспелого арбуза покрывала вуаль из поржавевших труб. Одна, самая толстая, подобно удаву, сокрушающему обвоем кирпичные кости, горела ядовито-желтым цветом. Стены корпуса всей поверхностью продавливались внутрь, словно живот голодающего, а бочкообразная крыша выгибалась вверх, как кошачья спина или маниакальная идея, – хотя по законам физики должно было бы быть наоборот. Из двух соседних строений к параллелепипеду тянулись «мостики дружбы» на железобетонных опорах. К его выступам лепились пристройки: кирпичные протуберанцы с непонятным предназначением.

Из-за груд шлака, похожих на окаменевшие туши бронтозавров, вышли, оживленно беседуя, две чумазые женщины в косынках.

– Извините, пожалуйста, вы не подскажете, где здесь бухгалтерия? – спросил я.
– На втором этаже, сынок. Пройдешь до конца коридора и направо по лестнице. Только сапоги надень.
– У меня нет сапог.
– Так вот здесь, – рассмеялась одна, – они в вагончике всегда лежат.

Я зашел в строительный вагончик, сбросил кроссовки и натянул сапоги.

Далее пришлось идти по щиколотку в густой липкой жиже. В радужной пленке плавали червеобразные резиновые ленты. Под потолком трещали длинные желтые лампы. По обе стороны, наподобие островов, возвышались конвейеры и заброшенные станки, оплетенные африканскими косичками проводов.

В конце коридора я нащупал поворот налево и вдруг наткнулся на что-то живое. Существо взбежало по лестнице и оказалось девочкой в шоколадно-клетчатом платье, розовой куртке и синих резиновых сапожках. На плечи ее падали русые косички, туго перевязанные черными шелковыми лентами. Она была столь болезненной, что, глядя на нее, не верилось, будто существуют другие девочки: дрыгающие длинными ногами, играющие в классики, хохочущие и жизнерадостные.

Помню, я подумал, что растят родители такой цветок в надежде, что из костлявой принцессы разовьется пышная царица, но ведь не разовьется: зачахнет цветок.

А вслух спросил:

– Детка, что ты здесь делаешь?
– Играю.
– Во что?
– В прятки.
– С кем?
– С ним. – Девочка кивнула на плюшевого верблюжонка, которого прижимала к нагрудному кармашку.
– Но он же у тебя в руке? – смутился я.
– Ну и что!
– Дай-ка посмотреть!
– Зачем?
– Хочу посмотреть, сколько у него горбов.

Девочка не шевелилась.

– Верблюды бывают разные: есть одногорбые – дромадеры и есть двугорбые – бактрианы.
– Нет, его зовут Саша!
– А где твоя мама?
– Там, – неопределенно махнула рукой девочка.

Я поднялся еще на один пролет и вышел в коридор. Первая дверь, в которую я толкнулся, оказа-

Под потолком в жестяном абажуре болталась лампочка, одинокая, как гостья из облака Оорта. Табличка со съемными буквами информировала: «В котельной не было травм с ___ числа ___ месяца».

лась заперта. Следующая – тоже. Все двери в коридоре были заперты, кроме одной – с плексигласовой буквой «Ж». После некоторых колебаний я приоткрыл ее и оказался в вытянутом прямоугольном помещении, стены и пол которого были выложены мелкой плиткой. Из маленьких закрашенных окошек под потолком пробивался тусклый свет. Это был туалет, но перегородки кабинок были снесены, а унитазы расколоты. Дальний конец помещения тонул во тьме.

По полу скользнула длинная веретенообразная тень, и я увидел перед собой женщину в бежевом свитере, оправляющую юбку.

– Извините, как мне пройти в бухгалтерию? – опомнился я.
– Извините, а что вы делаете в женском туалете? – строго посмотрела на меня женщина.

У нее были взбитые крашеные волосы и мягкий голос, засасывающий, как азовский песок.

– Я здесь случайно. Мне нужна Марья Павловна.
– Вам посчастливилось, это я.
– Вы не подскажете, где я могу найти Валентина Николаевича?
– А он уже уехал. Он ждал вас больше часа.
– Как уехал?
– Он себя плохо почувствовал. Знаете, у него сердце. А сегодня давление, магнитная буря. Не расстраивайтесь, он будет в понедельник. Пройдемте ко мне. Не будем же мы разговаривать в женском туалете?

Мы вышли в коридор. Я наткнулся ногой на что-то мягкое и поднял с пола знакомого верблюжонка.

– Ах, это моя дочка потеряла. – Марья Павловна отобрала у меня игрушку.

Мы подошли к одной из дверей.

– Вот сюда! Видите, цифра семнадцать написана ручкой? Это бухгалтерия. Вам нравится цифра семнадцать?

Я давно заметил, что женщинам-бухгалтерам свойственно какое-то особенное, лирическое, можно сказать, отношение к цифрам.

Марья Павловна открыла ключом дверь.

Бухгалтерия располагалась в уютной светлой комнате, стены которой были заставлены стеллажами с папками.

– Садитесь сюда. – Женщина указала на кресло за канцелярским столом. – Хотите чаю?
– Конечно, я очень замерз.

Главбух взяла электрический чайник с огромной чугунной батареи.

– Наливайте, он только что вскипел.
– Вам не страшно приводить сюда дочку? – поинтересовался я.
– Она практически выросла здесь.
– А как ее зовут?
– Улита.
– Странное имя.
– Что ж в нем странного? Обычное русское имя, – удивилась Марья Павловна. – Будете сахар?
– Нет, спасибо. Говорят, здесь геопатогенная зона.
– Что вы, я всю жизнь проработала на этом заводе! И никаких проблем со здоровьем! Вот возьмите. – Главбух протянула мне яблоко с блестящими, будто восковыми, боками.
– Нет, спасибо, я только попью.
– Как вам наш завод?
– Вы знаете, я восхищен им. Анклав советской техносферы! Все уникально. Будь я миллионером, открыл бы здесь индустриальный заповедник.
– Ну что вы! Представьте, какие нужны средства! Легче заставить все это заработать.
– А я представляю себе рекламную кампанию «Руины как национальное достояние!». Нет, ваш завод определенно идеален. Но мне пора.
– Вы найдете дорогу назад?
– Да, конечно, – заверил я.

* * *

Солнце висело над проходной, когда я толкнулся в запертую дверь. Дверь не шелохнулась.

Осторожно постучал в зарешеченное окно. Проходная молчала. Между рамами билась крупная муха. Пахло влажным кирпичом и металлической стружкой.

У ворот стояла старуха в платье, мятом, как носовой платок. В вытянутых руках она держала кусок сырого мяса, а вокруг нее прыгала шелудивая собака, сверкая проплешинами.

Я присел на грязную скамейку возле ворот и стал озираться. В некоторых местах приземистая охряная стена, как ветхая труженица, опасно накренялась вперед, так что, привстав, я мог бы дотянуться до ее верхнего края.

Недолго думая, я подкатил к краю стены жестяную цистерну, стоявшую рядом с поломанной стремянкой. Подпрыгнул и ухватился руками за верх стены и тут же с криком свалился в грязь. Из порезанных пальцев хлестала кровь.

Чертыхаясь, я вытащил носовой платок и с трудом перевязал руку.

Задумавшись, зашагал по деревянному настилу назад к административному корпусу и почти не удивился, найдя дверь бухгалтерии запертой, но на всякий случай решил проверить женский туалет.

Переключатель не работал. Минуты две-три глаза привыкали к темноте. Туалет был пуст. Я сделал несколько шагов по кафелю и вдруг увидел в стене тонкий, как жгут, светлый контур. За одним из расколотых унитазов оказалась дверь. Ручки не было.

Я подобрал осколок унитаза и просунул под дверь. Немного повозившись, вытянул дверь на себя и оказался на «мостике дружбы» – насаженном на вилку арматуры продолжении административного корпуса. Он вел к небольшой постройке из белого кирпича.

Я бросился вперед, сбежал по лестнице и ворвался в помещение, заставленное скуластыми раскаленными котлами. Под потолком в жестяном абажуре болталась лампочка, одинокая, как гостья из облака Оорта. Табличка со съемными буквами информировала: «В котельной не было травм с ___ числа ___ месяца».

За спиной послышалось старческое кряхтение и шум многих ног. Я бросился к следующей двери и оказался в раздевалке. На переносных вешалках висели грязные халаты, поникшие и обездоленные, как туши на скотобойне. Нестерпимо пахло солидолом и машинным маслом. Пометавшись в поисках места, чтобы спрятаться, я бросился к куче старых телогреек и зарылся с головой.

* * *

В раздевалку вошли трое котельщиков. Первый, дымящий черепаховой трубкой, был высокого роста, с шелушащейся угреватой кожей. Второй – толстый, в тельняшке, с мощной шевелюрой, похожей на лимб у циркуля. Третий – худой, как скелет, с высокими залысинами и с газовым ключом под мышкой.

Они выключили верхний свет и зажгли какой-то напольный фонарь. Разложили на полу самогон, хлеб и овощи.

Оценив ситуацию, я уже хотел вылезти из-под телогреек, но упустил время, а потом было уже стыдно и странно. Я порядком устал за день, и было лень объяснять подвыпившим людям, как я здесь оказался.

Толстого в тельняшке звали Тюлень, он долго вытирал испачканные мазутом руки куском ветоши.

Владельца черепаховой трубки звали Фил, он постоянно усмехался, обнажив искрошенные зубы.

Скелетообразного они называли Люэс, он мне показался самым безобидным.

Пили они неторопливо и немногословно, как люди, наговорившиеся за долгие годы. Пьяные речи их были однообразными и скучными и сводились к вспоминанию разнообразных несчастных случаев на производстве. Впрочем, возможно, эти истории мне показались бы и забавными, если бы я мог вышелушить их юмористическое зерно из мата и непонятного мне технического жаргона.

Я боялся, что если усну, то выдам себя храпом или шевелением. Но в конце концов задремал.

* * *

Мне снилось, что я в летнем кафе со своей подругой. Она улыбалась. Такая улыбка играет на губах продавщицы, когда она вывешивает табличку «Обед». Но я любовался темно-алым пламенем ее губ и мысленно целовал их. Потом я пытался схватить ее за запястья. Но Инга начала размываться в воздухе. Гневный фантом растаял.

Раздался звук, похожий на хлопанье дверцы холодильника. И я почувствовал, что нахожусь уже в другом сне.

Теперь я сидел на широкой оттоманке в комнате без потолка. Над головой раскинулось звездное небо. В комнате был столик – вернее, откидная доска на шарнирах, как в вагонном купе. На полированной доске стояли белая шахматная пешка и рюмка с капелькой мутной влаги на дне. Откуда-то из-за спины на пористый кирпич с бурыми вкраплениями падал бездомный лунный свет.

Мне показалось, что я уловил черный взгляд из ванны космоса.

«Есть ли жизнь на Земле?» – вопрошал черный взгляд, и я мысленно послал ему в ответ свой надрывный вопль: «Нет!»

Раздался звук, неприятный, как скрежет трамвая. На столике трещал будильник, похожий на полапельсина. «Разве я не выкинул его в седьмом классе?» – подумал я и протянул руку.

Покатилось жестяное ведро.

Я проснулся. В раздевалке было пусто.

* * *

Я взлетел по лестнице и нырнул в сиротливо болтающуюся дверь. Здесь пахло древесным углем и сажей. Только через пару минут я понял, куда попал. Это был сгоревший актовый зал или, как их некогда называли, красный уголок. Обугленная трибуна, груда переломанного шанцевого инструмента, лохматая дерюга…

Еще пара дверей – и я наконец вдохнул бодрящий, как крепкая заварка, утренний воздух. У крыльца начинался знакомый деревянный настил.

В грязи возле проходной ехал кар с огромными бидонами в ковше. В кабине сидел вахтер.

У ворот стояла старуха в платье, мятом, как носовой платок. В вытянутых руках она держала кусок сырого мяса, а вокруг нее прыгала шелудивая собака, сверкая проплешинами.

– Ты кто такой? – успела крикнуть мне старуха.
– Мне нужно выйти! – огрызнулся я и налетел на дверь.

Дверь распахнулась.

– Испытывает нас антихрист! До чего дожили! Стой, хулиган! – кричала старуха.

Перепрыгивая турникет, я заметил на столике среди резиновых лент огурцы и помидоры, и каждый овощ был завернут, как новогодняя игрушка, в отдельную бумажку. И я бежал, в резиновых сапогах, до следующей остановки троллейбуса.

ПРО БАРЫНЮ-СУДАРЫНЮ И ПЕСЦОВ

ОЛЬГА ПТИЦЕВА
Писательница и поэтесса, соведущая околокультурного подкаста «Новен Дур», мастер Creative Writing School. Роман «Выйди из шкафа» вошел в шорт-лист премии «ФинШн35».

Лельке было три, когда мама в первый раз не пришла домой ночевать.

На улице стоял мороз. Он давно уже не унимался, был трескучий до костного хруста, густой настолько, что проникал через окна. Собирался снегом на подоконнике. Холодил пол. Лелька чувствовала его через носки, первые – тоненькие, с лисичками, вторые – из колючей шерсти.

– Надень тапочки, застудишься! – просила бабушка, выглядывая из кухни.

Лелька пряталась за дверной косяк, дожидалась, пока в раковине снова зашумит вода, и возвращалась в коридор. Она ждала маму.

Мама ушла утром. Было рано, задувал южак. Лелька узнала его по тонкому свисту в окнах. Мама приоткрыла дверь в комнату, и Лелька тут же проснулась. От мамы пахло горькими духами и лаком для волос. Она присела на краешек кровати, наклонилась к бабушке, сказала ей что-то неразборчиво. Бабушка тут же проснулась, заворочалась, поднимаясь. Всю ночь она грела Лельку – дыханием, ладонями, большим своим спящим телом, и без нее сразу стало холодно. Лелька захныкала, но мама положила ей ладонь на лоб.

– Поспи еще, – попросила она.

Лелька зажмурилась, чтобы ее не расстраивать, и принялась слушать, как скулит Лота, как тяжело бабушка хромает по коридору, чтобы закрыть за мамой дверь, как возвращается в комнату, накрывает Лельку еще одним одеялом, тяжелым и сонным. Под ним дрема приходила сама собой, и снился снег, засыпающий Лельку, и комнату, и дом, и тропинку к дому, по которой шла сейчас мама, исчезая в этом снеге, как в разведенном водой молоке.

– Дрыхнешь еще? – Надька с разбегу запрыгнула на кровать, пролезла в тепло с ледяными ногами. – Там снега намело до подоконника!

Лелька спрятала голову под подушку и нарочно стала спать еще крепче, чтобы не отвечать. Но Надька наклонилась к ней:

– Деда Рыптэна теперь до лета не найдут!

Голос ее пробрался под подушку. Лелька сжалась, выдавая свой сон-не-сон.

– Витка еще вчера один с охоты вернулся, я из окна видела, – горячо заговорила Надька. – Шуба вся в снегу, лицо обмороженное, а на санках только куропатки. Мертвые!

Нужно было вскочить, перелезть через Надьку и побежать к бабушке, та уже разогревала на сковороде вчерашние пирожки, и пахло от них сладким тестом и яблочным повидлом. Но второе одеяло было слишком тяжелым. Еще и Надька навалилась сверху.

– Витка деда на сопку утащил, чтобы его там песцы съели.

Слезы уже собирались в Лельке. Деда Рыптэна она видела прошлым летом. Витка выносил его на

завалинку у дома, укрывал шкурой и оставлял так, пока ходил за хлебом в автолавку. Дед Рыптэн подставлял плоское лицо солнцу и замирал, а Лелька смотрела на него из окна и гадала, есть ли у деда глаза, или две слепые щелочки – все, что ему досталось.

– Песцы сейчас голодные, они человека за три километра чуют, – не унималась Надька. – Прибежали на сопку, начали деда рвать, а он даже не заплакал. Знаешь почему?

Лелька затрепыхалась, отталкивая от себя одеяло, но сил не хватило. Ладошки стали липкими, живот скрутило от страха и духоты.

– Потому что слезы у него замерзли, – выдохнула Надька ей прямо в лицо и наконец помогла выбраться наружу.

Майка тут же прилипла к влажной коже, воздух обжег холодом. Под ближней сопкой песцы доедали деда Рыптэна. Лелька облизнула пересохшие губы, вдохнула поглубже и на выдохе начала реветь.

– Бабуля!.. – позвала она.

Бабушка тут же оказалась рядом, подхватила Лельку на руки, прижала к себе и понесла туда, где пахло пирожками, а из окон была видна тропинка, по которой мама ушла из дома в снег. Они засели на кухне. Лелька то сбегала в коридор, проверить, не вернулась ли мама, то возвращалась обратно, чтобы согреться, – от плиты расходился сухой жар.

– Пирожок будешь? – предложила бабушка, аккуратно переворачивая котлету на скворчащей сковороде.

– Не.

– С молочком! С фермы вчера привезли. – И шлеп лопаткой, чтобы котлета не подгорела. – Литр молочка и творога грамм двести. Свежие, еще коровкой пахнут. Прямо как на материке.

Лелька ее не слушала. Она подвинула табуретку к окну. Стекло промерзло до снежной корки. Поковыряла пальчиком, продышала в обледенелом окне малюсенькую выемку, заглянула в нее. Ничего не увидела, только белое полотно снега. Смотреть на него было холодно, представлять, что где-то снаружи мерзнет мама, дворовые псы и дед Рыптэн, – еще холоднее.

– А давай я тебе оладушек напеку?

– Не.

– Надь, – позвала бабушка. – Расчеши ее хоть, ходит лохматая.

Лелька никуда не ходила, она смотрела в проталенную выемку, представляла, как снег за ней расступается и сквозь него идет мама. В лохматой шубе и валенках, и пурга тихнет, уступая ей дорогу.

– Киснешь? – спросила Надька, распустила тонкую Лелькину косичку.

Лелька хотела было рвануть из кухни, но Надька тепло привалилась к ней и заскользила ладонью по спутанным за ночь волосам. Мама расчесывала Лельку быстро и весело, а сестра никуда не спешила. Вела расческой, пропускала пряди через прохладные пальцы.

– Тебе хвост или колосок?

Лельке хотелось колосок, чтобы не волосы, а сдобный гребень, как у пироговой корочки. Но колосок был маминой забавой. Она плела его под утренние новости, выделывая из волос такие завитки, что к вечеру их было не расчесать. От маминого колоска Лелька бы не отказалась, а другой ей был ни к чему.

– Хвост.

Надька хмыкнула, будто бы догадалась, но спорить не стала. Хвост получился крепким и высоким.

– Молодец какая, – похвалила бабушка. – Ни одной дорожки не оставила.

Дорожками она звала выпавшие из хвоста прядки. Но Лелька услышала другое – ни одной дорожки. Как же мама теперь вернется? Лелька спрыгнула с табурета, понеслась по коридору в большую комнату. В дни пурги туда и не заходили, мороз пролезал через закупоренные двери лоджии, леденил ковер. Можно было включить калорифер, но бабушка боялась – вдруг вспыхнет, кто будет тушить? Лелька с ногами забралась на диван, потянула на себя плед, закуталась в него и закрыла глаза.

– Замерзнешь тут, как дед Рыптэн, – проворчала Надька.

Подхватила ее на руки вместе с пледом и понесла. Лелька уперлась ей пяткой в живот, попыталась вырваться.

– Отпусти!

– Унесу тебя под сопку, – пообещала Надька.

Лелька слышала, как скрипит под ними пол, но ей казалось, это снег хрустит на протоптанной Виткой дорожке.

– Отпусти! Отпусти! – просила Лелька.

– Пусть тебя там песцы съедят. – Надька встряхнула ее сильнее, и Лелька заплакала.

В ответ ей слабо заскулила Лота, но казалось, это песцы издалека разглядели Лельку и зашлись от предвкушения скорой добычи.

– Бабуля! – жалобно позвала Лелька, но Надька уже положила ее на кровать, и песцы остались голодными.

– Ревет и ревет, – пожаловалась она бабушке. – Тяжеленная уже, а все рева-корова.

– По маме скучает. – Бабушка подошла ближе, положила ладонь на Лелькину макушку, но та еще глубже зарылась в плед. – Ты пойди отнеси котлеты в участок, – попросила она Надьку. – А мы пока в ваннушке полежим, да?

Плед хранил в себе холод большой комнаты, Лелька в нем совсем продрогла.

– А мама когда придет? – спросила она, выглядывая наружу.

Бабушка посмотрела жалостливо.

– Мама сегодня будет работать долго-долго, у нее теперь работа важная, сложная очень, понимаешь?

– Очень сложная, ага, – подала голос Надька. – Бюллетени подсчитывать. И чаи гонять.

– Надежда! – Бабушка цыкнула на нее, и та осеклась. – Иди давай. И воду нам набери. – Присела рядом с Лелькой. – Если ты будешь плакать, мама очень расстроится. И не сможет работать. Нам тогда кушать станет нечего. И что мы делать будем?

Лелька сглотнула оставшиеся слезы, вытерла глаза и задумалась.

– Под сопку пойдем.

– Зачем это? – удивилась бабушка, помогая Лельке выбраться из пледа.

– Чтобы нас песцы съели.

Бабушка запрокинула голову и расхохоталась. Лелька смотрела, как она смеется, а плотно завитые кудряшки ее волос дергаются в такт, и не могла понять, что же такого веселого в снежной сопке и голодных песцах, которым одного сухонького деда Рыптэна, конечно, было недостаточно.

– Ты Надежду слушай поменьше, она тебя дразнит, – посоветовала бабушка, утирая глаза. – Пойдем-ка мы с тобой погреемся, а то ножки ледяные.

В ванной было душно и горячо. Пахло мылом, присыпкой и маминым кремом для рук. Мама размазывала его по коже перед сном – пальцы, ладони, запястья, локти – и обязательно оставляла капельку, чтобы мазнуть Лельке по носу. От запаха этого слезы сами собой собрались в глазах, но Лелька сморгнула их и позволила бабушке стянуть с себя теплую кофточку, майку, штанишки, колготки и трусики. Без одежды духота ванной оказалась не липкой, а густой, как мороз за окном, только не жгучей, обволакивающей. Пар обнимал Лельку, пузырики лопались под пятками, пока бабушка опускала ее в воду.

– Сейчас спинку погреем, ножки погреем, – пообещала она. – Придумала тоже, песцы съедят. Это что же, и меня к песцам надо?

Лелька обняла колени, горячая вода обступала ее, заполняла собой все пространство, и в нем не оставалось места для пурги. И даже мама бы в нем не уместилась.

– Напридумают дурости, – продолжала ворчать бабушка, поливая Лельку из ковшика. – Сорок лет как их из тундры в люди вывели, а все дикие, черти. – Лелька слушала ее и не слушала, растворяясь в пару. – Это же надо! Старика в тундру. Мертвый, не мертвый, какая разница? Он тебя вырастил, ты его похорони по-человечески…

Поставила ковшик на край ванны, налила в ладонь лужицу шампуня, высвободила Лелькины волосы из хвоста и начала намыливать. Лелька зажмурилась, чтобы пена не попала в глаза.

– У меня когда мама умерла, я же ее в лес не потащила? Нет. Похоронили ее, как следует. А эти, тьфу на них! – Помолчала, смывая пену с волос. – Я тебе про бабушку Машу рассказывала? Про мамочку мою.

Лелька кивнула, хоть помнила и смутно, но если у нее самой была мама, а у той тоже мама, то и у маминой мамы обязательно должен был кто-нибудь быть. Бабушка Маша сама собой появилась и встала в этот ряд, словно всегда там стояла.

– Мария Федотовна ее звали, за целую жизнь ничего плохого не сделала никому, – сказала бабушка, намыливая мочалку. – В войну меня вырастила, сестру мою Тамарку вырастила, братика нам родила, Павлика, только он слабенький получился.

Мочалка щекотно прошлась по спине и плечам, Лелька забултыхала ногами по воде. Ей стало легко и радостно, будто проснулась раньше всех, а впереди целый день. И ничего не происходит, но так хорошо от этого.

– Знаешь, как она нас с Тамаркой купала? – спросила бабушка, натирая мочалкой Лелькину спину. – Натаскает ведрами воды в таз, подогреет покрепче, чтобы не остыла, усадит сначала меня, как младшенькую, мыльце в руку возьмет и давай тереть!

Представить, что бабушка – большая и мягкая, помещалась в таз, Лелька не могла. Но бабушка говорила уверенно, щеки у нее раскраснелись от жара, а кудри совсем разошлись.

– И обязательно песенку пела! – вспомнила бабушка. – Хорошую такую песенку.

Песенки обычно пела мама. Закутывала Лельку крепко, клала себе на колени и запевала незнакомым голосом про рябину и дуб, про змею под-

колодную и про миленького, который уехал в далекие края.

– Спой, – чуть слышно попросила Лелька.

Бабушка бросила мочалку в воду, взяла с полочки мыльце, намочила его. Мыльце было ромашковым и пахло летом.

– Лес, – наконец сказала бабушка и опустила ладонь с мыльцем Лельке на макушку. – Поляна! – Рука скользнула на лоб. – Бугор. – Мазнула по носу. – Яма! – Сунула палец в раскрытый от удивления Лелькин рот, та щелкнула зубами, но укусить не успела. – Грудь. – Мыльце защекотало подмышку, и Лелька зашлась смехом. – Живот! – Ладонь плюхнулась в воду, погладила Лельку по мягкому. – А там Барыня живет! – закончила бабушка, юркнула рукой между Лелькиными ножками. – Ба-арыня – ба-арыня, суда-арыня – ба-арыня!

Она легонько раскачивалась в такт и била ладонями по воде. Брызги полетели на Лельку, она ахнула, захохотала так, что еще чуть – и зеркало над раковиной пошло бы трещинами, и стала подпевать.

– Барыня-барыня, сударыня-барыня!

Вся Лелька стала жаром, барыней, живущей за поляной и бугром, грудью и животом, сударыней, что мыла бабушкина мама бабушке, а теперь бабушка моет ей, Лельке. И мылом она стала, и пеной, и морозом за окном, и пургой, и песцом, и дедом Рыптэном. Всем, что наполняло жизнь, как пар наполнял комнату, и ее саму.

Лелька не заметила, когда дверь приоткрылась и к ним заглянула мама, запуская в тепло наружный холод.

– Ирочка, ты чего? – тут же всполошилась бабушка.

Мама присела на край ванны, погладила Лельку по спине, но ладонь у нее была с мороза, и Лелька отстранилась.

– Надюшка сказала, тут слезы рекой весь день. – Мама взяла ковшик, набрала в него воды и сполоснула руки. – Перерыв пока, я и прибежала. Давай я ее домою?

Лелька спряталась в воду по плечи, посмотрела на бабушку. Та на нее. Лелька помотала головой. Бабушка поджала губы – вроде бы расстроилась, вроде бы нет.

– Ты работай, Ирочка, мы тут без тебя ничего, потерпим, – пообещала она, забирая ковшик.

– Точно?

Мама была здесь, с ними, но и не была. От снега тушь на ее ресницах размазалась, и казалось, что мама плакала. Лелька потянулась к ней, прижалась щекой, позволила погладить себя холодными пальцами.

– Ну, пойду тогда, хорошо? – решилась мама, встала, вытерла руки и вышла, плотно прикрыв за собой дверь.

Лелька замерла, предчувствуя новые слезы. Но слез в себе не нашла. Без мамы она становилась всех однее. А тут не стала. Бабушка осталась с ней. И бабушкина мама тоже.

– Барыня-барыня, – прошептала Лелька. – Сударыня-барыня.

И протянула бабушке мыльце, пахнущее летом и ромашками. Горячим паром посреди бесконечно злой зимы.

ПРО ЧУЖИЕ СТУЛЬЯ И КРАЙ МИРА

– Надо идти, – сказала мама, но осталась сидеть, только чашку отодвинула.

Чашка была красивая. Замечательная была чашка. Белая, пузатая, с голубым цветком на гладком боку. Лелька таких цветков в жизни еще не видела – лепестки узкие, из желтой серединки торчат усики, на каждом круглая пуховка. Так и хотелось подобраться поближе, обнюхать хорошенько, может, даже лизнуть. Вдруг настоящий? Но мама нашла чашку первой, тут же плеснула в нее кипятком, досыпала ложку кофе, сверху ложку сахара, и принялась пить, недовольно оглядываясь на грустные развалы брошенной мебели.

Вещей осталось много. Ни конца ни краю им, как сказала бы бабуля, но она еще не вернулась с дежурства и безобразия этого не видела.

– Удружила Надька, нечего сказать, – ворчала мама, прихлебывая хозяйский кофе. – Это мы до лета не разгребем.

Тетя Надя уехала на материк прошлый рейсом. Побросала одежду в чемодан, расцеловала на прощание притихшую маму, всхлипывающую бабулю, саму Лельку – и была такова. От поцелуя на щеке остался липкий след, и Лелька все не могла стереть его, прислушиваясь, как шепчутся за стеной.

– Одни мы остались, Ирочка, страшно-то как…

– Ничего не одни, Виктор Иваныч еще!

– Ой, да ну его!

– Тихо-тихо, разбудишь…

– А я не сплю! – хотела сказать Лелька и вскочить с кровати, но веки стали тяжелыми, и она взаправдашне уснула.

А поутру мама отыскала в шкафу старые джинсы, застиранную футболку, бодро натянула их на себя и даже волосы повязала косыночкой, чтобы не мешали.

– А ты куда? – спросила Лелька, аккуратно проделывая траншею в завалах манной каши, чтобы растопленное масло потекло к краю тарелки, где поджидало его малиновое варенье, привезенное с материка прошлым летом.

– Не ты, а мы, – ответила мама, доставая с полки Лелькин спортивный костюм. – Доедай скорее – и пошли!

Конечно, поверх спортивного костюма пришлось натягивать синий колючий свитер, весь расшитый белыми розочками, а под него майку и теплые колготки с начесом, но дело того стоило. Когда они вышли на улицу, мама в розовом стеганом пуховике, а Лелька в дутом комбинезоне на импортном синтепоне, в лицо им тут же задул ледяной ветер. Тоненькая полосочка щек между шарфом, завязанным выше рта, и шапкой, натянутой по самые глаза, раскраснелась. Сразу стало жарко и холодно. Мама крепко сжала Лелькину ладошку, их варежки тут же слиплись. Ступени высокого крылечка успе-

ло занести пургой. Спускаться нужно было медленно и осторожно – упадешь, а подняться на ветру ох как не просто. Лелька тихонечко считала про себя, чтобы не пропустить последнюю, самую коварную ступеньку. Раз. Два. Три. Левый ботиночек соскользнул с края, мама тут же дернула Лельку на себя, удержала на ногах. Обошлось. Они перевели дух. Четыре. Пять. Все. До соседнего подъезда путь близкий, не успеешь замерзнуть, уже на месте.

Под ногами оглушительно скрипел снег. В полуденной тьме полярной ночи он слабо поблескивал, утоптанный по дорожке, бескрайний и мерзлый с обеих ее сторон. Лелька знала, где-то там, укрытая ночью и пургой, спит большая сопка, снег завалил ее серый бок, не видно черных камней, не разглядеть мшистые островки, по которым светлыми ночами бродят одинокие олени. Ночь делала мир маленьким и ледяным. Лелька зажмурилась, темнота стала чуть теплее, и в ней, позади пурги, послышалось мерное дыхание сопки – вдох, выдох, вдох, выдох. Спит себе, ждет весны. Чего с ней станется, с такой-то большой.

Мама недовольно сжала ладонь, слипшиеся варежки хрустнули. Лелька тут же открыла глаза и прибавила шагу. Мороз пробрался под комбинезон, между ним и телом остались только свитер, спортивная курточка и тоненькая майка. Совсем ничего не осталось. Но мама уже нащупала в темноте деревянные перила чужого крыльца и начала подниматься по заваленным снегом ступенькам, Лелька поспешила следом. Чужой подъезд встретил их тем же холодом, что и снаружи, но без ветра и снега тот съежился и отступил, подумаешь, мороз, ничего особенного. Вот когда сыплет и в лицо охапками кидает, тогда и правда беда. А мороз мы любой осилим, где наша не пропадала.

Мама долго возилась с замком, замерзшие руки плохо слушались. Лелька топталась рядом. Квартиру тети Нади она знала хорошо. Шкаф с хрусталем, два деревянных стула, трехногий столик под хохлому и диван с мягкой ковровой обивкой. Вещи, смутно напоминающие те, что стояли в Лелькином доме, у тети Нади пахли лекарствами. Она работала в поликлинике и часто приходила в гости, чтобы поставить укольчик, выдать капелек для сердца и глянуть, не пора ли бабуле ехать в санаторий, греть больную ногу в лечебных грязях. Была тетя Надя громкой и смешной. Лельке она нравилась, несмотря на укольчики. А теперь тетя Надя уехала насовсем, оставив ключ и развалы брошенных вещей, пахнувших теми же лекарствами, что и при ней. Это напугало Лельку куда сильнее пурги и мороза. Навсегдашность отъезда. Непоправимость его и настоящность больно щипала в глазах, даже бабуля – и та не удержалась, поплакала перед сном, грея Лелькины холодные пяточки в теплых ладонях. А вещам ничего, даже пахнут так же. Удивительные дела.

– Не топчись, ноги мокрые, – окликнула мама.

С ботиночек и правда успело натечь. Лелька разулась, залезла в хозяйские тапки – большие и разношенные – и пошлепала за мамой в комнату.

Вещи они раскладывали по двум кучкам. Справа – те, что Виктор Иваныч потащит на помойку, слева – те, что мама решила забрать себе. Первым в левую кучу отправился трехногий стол, следом пузатая чашка, два блюдца, глубокая кастрюля и связка толстых журналов за 1995 год.

– У меня подписка закончилась в 94-м, а там роман публиковали, не дочитала, – смущенно объяснила мама.

Лелька согласно покивала и бросила в левую кучу обезьянку на подставочке – сама коричневая, а ножки и ручки желтые, нажмешь на подставку – и они дергаются, смешно и немного жутко.

Сухие макароны и упаковку говяжьей тушенки решено было забрать с собой сразу, с ними банку растворимого кофе и два шоколадных деда мороза. Остальное – пыльное, брошенное и печальное, осталось обреченно лежать у стены, в ожидании Виктора Иваныча и его мусорной машины.

– Не выкинет, так себе заберет, не жалко, – решила мама и поставила греться чайник. – Кофейку – и пойдем, поздно уже.

За окнами бушевала пурга. Тонким свистом она проникала в комнату через ставни, сколько хочешь их закупоривай бумагой с клейстером, подтыкай ватой и старыми свитерами, а начнется пурга, обязательно наметет на подоконник снега, засвистит и заноет в доме, да так уныло, что самому хоть плачь.

– Надо идти, – повторила мама, делая последний глоток. – Бабуля скоро домой придет, а нас нету, вот крику будет, да?

Промерзшая одежда согреться не успела, Лелька влезла в хрусткий комбинезон и тут же продрогла, но говорить не стала, потопталась только, чтобы согрелись ноги, утонувшие в сырых ботиночках. Мама обязала ее шарфом, огляделась напоследок. В коридоре одиноко стояли два стула – деревянные, лакированные, с красивыми витыми спинками. Виктор Иванович обрадуется. Дерево хорошо горит, будет его буржуйке чем поживиться.

– Дотащим? – спросила мама, примериваясь к стулу.

Лелька кивнула и схватила второй. Так и пошли через пургу. По сторонам снег, в небе снег, по земле снегом тянет, куда ни глянь, только снег и видно. А они идут – Лелька первая, впереди себя стул держит, мама следом, в одной руке сумка с макаронами и тушенкой, а другой стул к себе прижимает.

Лелька шла, во все глаза всматриваясь в темноту, чтобы не пропустить свое крылечко. Ветер так и норовил вырвать из рук стул, варежки скользили по спинке, но пальцы в них так замерзли, что захочешь – не разожмешь. Мелкий жгучий снег горстями сыпался в лицо, забивался в нос, мешал дышать. Лелька так устала, что начала представлять – вот она ложится прямо на снег, закрывает глаза и начинает слушать, как ровно дышит спящая сопка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

– Смотри! – Голос мамы вырвал Лельку из холодной дремы.

Ветер стих. В одно мгновение перестал дуть, рвать и швыряться снегом. И снег закончился. Колкая манка успокоилась на верхушках сугробов, нежных, будто сметанные берега. Стало светло и тихо. И даже прозрачный морозный воздух наполнился нездешним сиянием. Лелька задрала голову и беззвучно ахнула, мигом позабыв про холод и пургу.

С низкого темного неба спускались мерцающие нити. Золотые и изумрудные, пронзительно голубые и пугающе-алые, они переплетались в вышине, то сияли ослепительно ярко, то затухали тревожно, чтобы вспыхнуть с новой силой. Изгибистые ленты, гонимые небесным ветром. Колдовская роскошь, щедро рассыпанная по спящему небу, подарок тем, кто вышел в мороз и ночь.

– Садись, – шепнула мама, подталкивая Лельку к стулу.

Лелька послушно опустилась на скользкую деревяшку, не отводя глаз от неба. Шея уже затекла, руки замерзли, холод колюче пробрался вверх по ногам. Но мама уселась рядом, стянула с себя бабушкину шаль и укутала их обеих.

– Тепло? – спросила она белыми от мороза губами.

– Тепло, – согласилась Лелька, отбивая зубами восторженную дробь.

Над ними сверкали в танце нити и ленты, мерцающие огоньки и набухшие гроздья звезд. Спящая сопка недовольно ворчала, колкие искорки света жалили ее снежные бока обещанием весны. От красоты и мороза захватило дыхание. Лелька втягивала ледяной воздух через силу, но продолжала смотреть, не моргая, чтобы темнота ни на миг не проглотила изумруд и синь, серебро и золото, тревожную алость и неземной фиолет. Под бабулиной шалью тихонько сопела мама, Лелька чувствовала ее бок своим плечом, и от этого становилось щекотно в животе. От небесного сияния щекотка поднималась выше, до глаз, и хотелось плакать, но слезы тут же замерзали, и лед их отражал небесные искорки, будто бы Лелька плакала ими, и это было так хорошо, что стало очень жалко тетю Надю, уехавшую от всей этой красоты на далекий материк.

Так они и сидели – мама и Лелька, у края мира на чужих стульях, а чернильное полотно неба разрывали на лоскуты изумрудные нити северного сияния, пока с дежурства не вернулась бабуля.

ПРО ЧЕРНУЮ ЯГОДУ ШИКШУ

– Давай! – крикнула мне Катька.

Под ногами трещало, а ниже рокотало и плескалось. Речка Каатырь неслась с дальних сопок прямо в океан. Но это далеко, у Поселка океаном и не пахло, зато пахло ледяной водой, раскисшим багульником и немного соляркой.

– Давай! – повторила Катька и протянула мне руку.

Ладонь у нее была красная, в чешуйках сухой кожи. Так бывает, если стираешь в холодной воде. У Катьки был младший братик, а горячую воду к ним так и не провели. Катька писала в район, жаловалась в администрацию, да только что им те жалобы. И вся Катькина семья.

– Да хватайся, тебе говорю!

Ногти Катька грызла до самого мяса. Неровный край, запекшиеся лунки сорванных заусенцев. А костяшки сбиты – то ли в драке, то ли с велосипеда полетела. Вон на пальцах следы жирной смазки от цепи. Никто, кроме Катьки, по Поселку на велосипеде не ездил. Какой велосипед, если дорог нет, одни короба и засыпанные крупными камнями дорожки. Но Катька от последнего снега до первого рассекала на дребезжащей махине, доставшейся ей от отца. Тот привез велосипед с материка, а больше багажа у него и не было. Катька рассказывала об этом с такой гордостью, что я тут же начинала завидовать. Мало того, что у Катьки был велосипед, так еще и отец был, жалко, что погиб прошлой осенью. Поехал на охоту по первому льду, вездеход занесло и перевернуло. Нашли его на пятые сутки, поломанного не сильно, зато замерзшего насовсем. Катька тогда перестала к нам ходить. Мама подождала месяц, потом собралась и пошла к ней сама. Вернулась к вечеру, облокотилась на обувную полку у двери, долго молчала и гладила подбежавшую Лотку.

– Можешь не волноваться за комнату, – сказала она Надежде. – В колледж Катя не поедет. И в соседках у тебя не будет.

Сестрица выглянула из комнаты.

– Ну и хорошо.

– Ничего хорошего. Мать у нее запила. Катя с братом остается. На водокачку пойдет сторожить.

Надежда пожала плечами и вернулась в комнату – докрашивать ярко-красным лаком ногти на правой ноге. Зато Катька снова начала к нам приходить. То бабуле поможет сушеные яблоки перебрать, то с мамой засядет над правилами по русскому, по старой памяти, к экзаменам они за целую зиму успели подготовиться. Их Катя сдала без троек и так гордилась этим, что курить бросила. А потом опять начала. И подстриглась еще короче. Зашла к нам, скинула ботинки, стянула шапку и встала перед мамой, свела густые брови, глянула из-под них с вызовом, мол, чего теперь скажете. Мама ничего не сказала, пошла ставить чай. А вот сестрица не удержалась, цокнула языком.

Катька умела вырезать из цветного картона нелепых чудищ с огромными зубами, а потом лепила их из соленого теста и помогала придумывать странные истории.

– Блох подхватила, да? – спросила она, повернулась ко мне. – Тоже нахватаешься, к Лотке не подходи, пусть хоть собака чистая будет.

Выскочила в коридор, натянула куртку.

– Ты куда раскрытая вся? – попыталась остановить ее бабуля.

– У Юльки посижу, пока тут гости, – выплюнула последнее слово, как тухлую ягоду, и затопала вниз по лестнице.

Катька тут же стала собираться домой, но я повисла у нее на рукаве, не отцепишь.

– Ты ко мне пришла, ко мне, – ныла я, тянула к себе. – Пойдем, я тебе почитаю!

И Катька пошла. А потом мы пили чай, и мама хвалила ее за стрижку, мол, какая необычная, только подровнять бы чуток сзади, давай мы подровняем? Бабуля принесла старую простыню, мы всегда оборачивались ей, когда стриглись, накрыла плечи Катьки, и та затихла. Ножницы щелкали, и волосы падали на пол, тоненькие, как травинки.

– Я хотела, чтобы под шапкой видно не было, – призналась наконец Катька. – Чтобы не поняли сразу, что я девка. Иначе на охоту не возьмут.

Смотрела она только на маму. И говорила с ней. Мама поджала губы, стала холодная и чужая, как всегда, если начинала злиться. Только на кого, я понять не смогла.

– С чукчами не ходи, – сказала она. – Слышишь меня? Только с нашими. Со знакомыми. С теми, с кем папа твой ходил. А с чужими – никогда. Обещаешь?

Катька потянулась ко рту пальцами, но простыня не дала их прикусить. Кивнула. И мама снова стала теплой и своей.

– А зачем тебе на охоту? – шепотом спросила я, подходя поближе.

– Чтобы жрать чего было, – ответила Катька. – Хочешь, привезу уточку?

Я представила, какой она будет мягонькой и смешной, как будет бегать за мной и крякать, но Катька глянула через меня на маму и улыбаться перестала.

– Не, уточку не привезу, а ягод могу. Ир Станиславовна, давайте я вам ягод привезу, как пойдут. Два ведра!

– Привози, Катенька, – ответила за маму бабуля. – Я компота сварю, отнесешь братику.

Катькиного братика я никогда не видела. Только слышала, что он маленький и болеет. Родился не такой, как нужно. Сердечко у него слабое.

– А почему так бывает? – спросила я Катьку.

– Потому что бухать не надо было, – коротко ответила она. – Читай давай, а то мне идти скоро.

Долго Катька у нас не задерживалась.

– Пойду я, Ир Станиславовна, – жалобно говорила она, начинала обуваться.

Ботинки у нее были разношенные настолько, что шнурки можно было не развязывать. И куртка старая, с заплатками на локтях. И спортивный костюм, в котором Катька ходила и в школу, и на танцы, и в тундру, тоже был истершимся, с вытянутыми коленками. Но все чистое. Скрипучее от хозяйственного мыла.

– Курить небось хочешь, – начинала ворчать мама, шла ее провожать к двери. – На вот, возьми. Брата угостишь.

– Да не надо, вы чего! – возмущалась Катька, но всегда брала.

Она приходила к нам два раза в неделю, по вторникам и четвергам, между сменами. В эти дни бабушка варила суп в кастрюле побольше. И запекала пару лишних бройлерных окорочков.

– Опять гуманитарная помощь? – интересовалась Надежда, но не спорила, только уходила заранее, друзей у нее было достаточно, чтобы переждать у них Катькины набеги.

А вот я ее ждала. Мы дружили всю зиму. Катька умела вырезать из цветного картона нелепых чудищ с огромными зубами, а потом лепила их из соленого теста и помогала придумывать странные истории. Вот пошло чудище в тундру и нашло там старый рудник. О, подумало чудище, добуду золото, стану богатым, куплю самолет и улечу на материк. Забралось туда, а там мужики сидят и самогонку гонят. А что им еще делать, если рудник пошел по...

– Катерина! – прикрикивала мама, но не зло, и смешинки поблескивали у нее в стеклах очков.
– Вот стает снег, пойдем с тобой в тундру, – пообещала Катька в декабре. – Ты была в тундре?

Конечно, была. Как не быть, если она начиналась прямо за детским садом. Пройдешь два двора мимо заброшенного общежития и пустого сельпо без двери. А там через короб по тропинке вниз. Под ногами начнет пружинить мох. На камнях покажется ягель. И запахнет влажно, с горчинкой. И ветвистые кустики расползутся по земле. А мама скажет, что это березы. Как в лесу, когда ездили к деду. Только там высокие, с белыми стволами. А здесь не ввысь растут, а вширь. Потому что холодно и ветер сильный. Невозможно вцепиться в землю, чуть копнешь – уже мерзлота. Приходится корешками за камни хвататься и ползти тихонечко, чтобы не сдуло в океан.
– Да разве там тундра? – Катька даже слюну собрала, чтобы сплюнуть, но вспомнила, что мы дома. – Настоящая тундра начинается за сопкой. Вот туда пойдем.

Сопка виднелась из окна кухни. Большущая и седая – даже в самый разгар полярного дня покрытая снегом. С нее к Поселку текла река. Чукчи звали ее Каатырь – маленький ручей, но летом ручей этот разливался в бурный поток, ледяной настолько, что ноги промерзали через ботинки, стоило подойти к берегу.
– Там брусники просто тьма. Наклонишься – и уже ведро собрал. А грибов! Ир Станиславовна, вы чего за грибами туда не ходите?

Мама оторвалась от телевизора.
– Как туда без машины-то попасть? Речка разливается, не переберешься.
– Тю. – Катька вытянула губы, над верхней глубокая оспина от ветрянки. – По камням перепрыгнуть, нечего делать вообще.
– Ну это тебе. А мне шею свернуть никак нельзя. Это знаешь как называется? Ответственность. Так что никакой реки. И никакой сопки.

И отвернулась. Катька уверилась, что мама не видит, и скорчила рожицу.
– Все равно сходим... – прошептала она мне.
– Я учителем работаю уже двадцать пять лет, было бы тебе известно, – не оборачиваясь напомнила мама. – У меня слух – как у летучей мыши.

О настоящей тундре Катька вспомнила на излете полярного дня.
– Ир Станиславовна, отпустите нас за сопку! – попросила она, расплескивая воду из ведра по ногам.

Бабуля взялась мыть полы в подъезде, а Катьку привлекла в помощницы, та не сопротивлялась. Таскала воду, мела по углам, но все высматривала через распахнутую дверь маму. А я сидела с ногами на завалинке, из подъезда меня выгнали, чтобы я не надышалась пылью. Солнце чуть спустилось с зенита, вытянуло тени, ветер лениво раскачивал скрипучие качели. Бесконечный день сократился на два часа темноты, но продолжал тянуться вяло и мучительно. Жужжали комары. Их тонкий визг то нарастал, то отдалялся, когда порыв ветра относил их в сторону. Я размякла от скуки. Вспотела под комбинезоном. Сил хватало на слабое покачивание ноги так, чтобы пятка билась о бок завалинки. И все. Катька же не унывала. Примчалась на велике, взбудоражила дворовую стаю. Они гавкали для приличия, но Катьку сразу узнали и быстро улеглись обратно под короб.
– Ир Станиславовна, там шикши столько! И голубики! Мы ведро привезем!

Я знала, что мама откажет, но все равно стала ждать. Мама выглянула из квартиры, посмотрела на Катьку, потом на меня.
– Я же говорила вам. Там речка. Лелька намокнет и простынет. И так дохает. Нельзя.

В горле предательски засвербило, но кашель я сдержала. Больше помочь Катьке мне было нечем. Начни я канючить, мама бы рассердилась и даже на завалинке запретила бы сидеть.
– Да я ее на руках перенесу. Не намокнет.
– Кать, не придумывай, – отрезала мама и скрылась за дверным косяком.

Но Катька уже поставила ведро и встала на пороге, упершись кулаками в бока.
– Ир Станиславовна, пустите! Лелька тундру не видела настоящую.
– Посмотрит еще, – ответила мама из глубины коридора.
– Когда? Сами говорите, закрываемся в сентябре. Увезете ее – так и не увидит.

Этого мы не обсуждали. Ни словечком об этом не обменивались. За бесконечным полярным днем зияла кромешная пустота. Ничего. Пусть бабуля и начала уже собирать вещи по мешкам. Аккуратные стопки белья, кофточек, свитеров и теплых колготок. Но мы старательно делали вид, что ничего не происходит. Наверное, боялись разрушить притворный покой последних месяцев. А Катьке страшно не было. Она просто сказала и осталась стоять, ожидая ответа.

Мама потопталась в коридоре. Я ее не видела. Только бабулю вполоборота. Мочка уха у нее стала красная. Она отжала тряпку и повесила ее на край ведра.

Теперь бабуля ходила туда ночь через сутки, сторожила от мародеров. А под подушкой у нее лежал пистолет. Игрушечный, конечно, но издалека не отличить.

– Ну чего? Отпустите? – переспросила Катька.
Мама откашлялась. Потом еще раз.
– Ладно, – наконец ответила она хрипло. – Сходите до речки. За сопку нельзя.

Я вскочила на ноги. Сонная скука исчезла сама собой. Даже комары перестали липнуть к лицу. И кромешная пустота, ожидающая меня в окончании лета, отступила.

– Сапоги резиновые надевай, пока не передумали, – шепнула мне Катька.

Она улыбалась. Ее плоское и круглое лицо стало совсем широким. И потрескавшиеся губы растянулись так, что корочка лопнула и выступила кровь. Я с разбегу облапила ее, но тут же оттолкнула и побежала за сапогами.

– Господи, Ира, куда ты их пускаешь, – всполошилась бабуля.
– Лелька тундры настоящей еще не видела, – тихо сказала ей мама, помогая мне натягивать сапоги. – А скоро сентябрь.

Бабуля перестала спорить и пошла резать нам в дорогу бутерброды.

– Может, с нами пойдете? – предложила Катька, пока я уткнулась в мамин халат на прощание.
– Ко мне ученики через полчаса придут, – вздохнула мама. – Ничего, я на тундру еще налюбуюсь.

И тихонько оттолкнула меня. Халат на ней был домашним, пах котлетами, которые мама жарила на обед. Бутерброды тоже оказались с котлетами, тонко порезанными вдоль. Мы достали их, когда завернули за дом, и Катька спрыгнула с велосипеда.

– Давай пожуем сначала, – предложила она. – А потом поедем.

Зачем есть на ходу, если можно было пообедать дома, я не поняла, но спорить не стала. Жевать хлеб с маслом и вчерашней котлетой на улице оказалось куда вкуснее, чем сидеть за столом и есть с тарелки.

– Всухомятку всегда лучше, – пробурчала Катька, а изо рта у нее посыпались крошки.

Я засмеялась. И она тоже. Курносое лицо ее сморщилось. И я подумала тогда: какая же Катька странная. Не такая, как моя сестрица, хоть и учились они в одном классе, под маминым руководством. Надежда мазала лицо толстым слоем тонального крема, чтобы скрыть свои веснушки. А у Катьки лицо было все в точках, как речная галька. Надежда красила ресницы и губы, мазалась маминими румянами. И вопила, если кто-нибудь дотрагивался до ее лица. Боялась смазать наведенную красоту. А Катька, раскрасневшаяся от ветра в тундре, спокойно терла щеки грязной ладонью. И волосы у нее становились все короче, и правая бровь была перебита шрамом. А уж от оспины на губе сестрица и вовсе бы сошла с ума, а Катька про это даже не думала.

– Чего смотришь? – спросила она, засовывая пакет от бутербродов в карман. – Поехали давай, а то Ир Станиславовна изведется.

Подняла велосипед, усадила меня на багажник, оттолкнулась от короба – и мы помчались к сопке, подскакивая на камнях. Пустые дома быстро закончились. Остались только горелые срубы. Чем ближе мы были к тундре, тем меньше Поселок походил на место, где жили люди. Скорее на заброшенный рудник, в котором ни одно чудище не найдет золота, только золу и искореженные пепелища.

– Кто их жжет? – спросила я, перекрикивая ветер.
– Да мало ли алкашни тут по ночам греется. Расскажи лучше, чего там Надежда? Звонит?

Я покрепче прижалась к Катьке. Под гладкой тканью спортивной куртки расходился жар от ее спины.

– Звонит.
– Устроилась уже?
– Устроилась.
– А с кем в одной комнате поселили?
Спина под курткой напряглась.
– С Ленкой Кравцовой.

Катька дернула плечом, велосипед начал заваливаться в сторону, но быстро выровнялся.

– Ленка храпит и воздух портит.
Я хихикнула.
– А ты откуда знаешь?
– Мы в седьмом классе в одной палате лежали.

Мимо пронеслось пустое здание общежития. Там должны были обитать старатели, но рудник загнулся раньше, чем привезли новую смену. Теперь бабуля ходила туда ночь через сутки, сторожила от маро-

деров. А под подушкой у нее лежал пистолет. Игрушечный, конечно, но издалека не отличить. Бабуля любила про него вспоминать и смеялась, а мама тут же затихала, только откашливалась в кулак.

Мы проехали мимо последнего работающего магазина. По средам там можно было купить свежий хлеб, но такой невкусный, что мама давно научилась печь сама. Катька спросила:

– Небось скучаешь по сестре?

Я не скучала. Надежда уехала в колледж за три часа по бездорожью и увезла с собой вечную ругань с мамой, злое подметание полов и громкую музыку за закрытой дверью комнаты, в которую мне ни в коем случае нельзя было заходить. Теперь сестрица если и приезжала домой, то набирала еды, жаловалась на соседок и укатывала обратно. Но сказать об этом Катьке я не могла. В хороших семьях все обязательно любят друг друга. А человека ближе, чем сестра, в жизни не найдешь. Бабуля повторяла это после каждой нашей ссоры. Правда, своей сестре она звонила раз в год – на день смерти моей прабабушки.

– Скучаю, – соврала я.

– Еще бы! – подхватила Катька и снова вильнула рулем. – Тебе вон как с сестрой повезло!

– Как?

Мы с Надеждой не дружили. Я дружила с мамой и бабушкой, с Димкой, пока он не уехал, с Мальчиком, пока его не застрелили, с Лоткой, если она обращала на меня внимание, и с кошкой Груней, пока ее от меня не увезли. С сестрицей мы просто жили в одном доме. А теперь перестали жить.

– Ну как? Она вон какая…

– Какая?

Сестра была чуть выше мамы, умела жарить пирожки из твердой американской картошки и запекать куриные окорочка Буша так, что их можно было прожевать. Она мастерски пылесосила ковер и красила ногти, а еще два часа стригла Лотку, превращая ее в подобие пушистого шара. И могла громко ругаться, а потом плакать злыми слезами.

– Умная, – сказала Катька, сворачивая с последней дорожки Поселка. – Учится на пятерки. Лучше всех английский знает.

Надежда ненавидела хренову школу, где все под твоим, мама, колпаком. Фразу эту я понимала плохо, но запомнила ее, как сестрица неправильные глаголы, которые зубрила по ночам, чтобы маме не было стыдно перед учительницей английского тетей Леной.

– Хозяйственная еще, – не унималась Катька, увозя нас все дальше от детского сада, за которым начиналась тундра.

Этого у сестрицы было не отнять. Она умела наводить порядок. Но не дай бог кому-то просыпать крошки или наследить на полу. Простым выговором не обойдешься.

– И красивая очень, – закончили Катька, подъезжая к железному забору последнего сарайчика. – Дальше пешком.

До реки мы шли, перескакивая с кочки на кочку. Болото напилось талой воды, раздалось вширь и глубь, покрыло себя мхом. Перед глазами рябили серые лоскуты ягеля, красные переплетенья багульника и мятника. Я знала названия по рисованному атласу тундры, который маме привезли с материка. Узнавала травы и радовалась им. Вон розовая купальница, вон крупные цветы копеечника. А в гуще мха – красные ягоды брусники. Много-много. Один раз наклонишься за ней, разогнешься через час, зато с полным ведром ягод. Только шикши не было. Катька искала ее, ковыряясь в кустиках то ботинком, то ладонью. И тихонько чертыхалась под нос.

– А ты знаешь сказку про шикшу? – спросила она, уверенно шагая на звук рокочущей воды. – Не знаешь? А еще чукотская девочка. Ну, слушай. Шикшу еще называют вороньей ягодой, только какие тут вороны? Пуночки одни. Пуночек ты хоть видела?

Пуночки прилетали на север первыми. Еще стояли морозы и снег лежал не только на сопках, но и в Поселке, а серые птички уже сновали на помойках и выпрашивали еду у сердобольной бабули.

– Зимуют они в теплых странах. Улетают кто куда, а к лету возвращаются домой. Вот одна пуночка поссорилась со своей подружкой, и зимовать они решили врозь. На материке наша пуночка познакомилась со старым вороном. И тот в нее влюбился, представляешь?

Мы выбрались из болота и остановились на твердом лоскуте земли – коричневой и промерзшей. Катька отряхнула грязь с ботинок, взяла меня за руку и повела дальше. Река отчетливо шумела совсем близко. Но темных ягод шикши мы так и не встретили.

– В общем, наступила весна, пуночка собралась домой, она ужасно соскучилась по подружке. А старый ворон полетел за ней. И пуночка никак не могла от него избавиться. Нет, говорила пуночка, ты мне не нравишься, улетай обратно. А он смеялся и называл ее глупой. Сам он был глупым. Не мог поверить, что не нужен нашей пуночке.

Катька сплюнула под ноги и достала из кармана сигарету. Посмотрела на меня виновато. При

мне она никогда не курила. Но мы и не выбирались из дома так далеко. Катька щелкнула зажигалкой, я отвернулась, чтобы не пялиться, но поглядывала на нее искоса. Курила Катька как настоящий старатель, держа сигарету двумя пальцами – указательным и большим.

– Короче, пуночка решила, что прилетит в тундру, упадет на землю и прикинется камешком. Пуночки же похожи на камешки. Вот ворон от нее и отстанет. Замерзнет и умрет. Но не тут-то было. Прилетели они в тундру, пуночка бросилась на землю, но ворон рассердился и начал клевать камни своим черным-черным клювом.

Земляной дух тундры сменился мерзким сигаретным дымом, но Катька рассказывала так здорово, что я не стала ее ругать. Пускай себе курит, зато история интересная. Вот-вот прилетит подружка пуночки и спасет ее. Вместе они прогонят глупого ворона. Только при чем тут ягоды?

– Клевал он камни, клевал. И нашел пуночку. А когда исклевал ее до смерти, взлетел в небо. Кровь пуночки начала капать с его черного-черного клюва. И каждая капелька стала ягодой шикши.

Я замерла. История не могла так закончиться. Ни одна сказка, даже самая жуткая, как про девочку Аюгу, не заканчивалась так. Вот сейчас прилетит подружка пуночки. Вот сейчас.

– И с тех пор пуночки клюют все ягоды в тундре. А шикшу не клюют.

И замолчала. Докурила сигарету. Потушила ее о подошву ботинка, положила на землю, затоптала, подумала немного и засунула окурок в карман.

– И все? – спросила я.

Катька кивнула.

– А как же ворон?

– А что ему сделается? – Катька обтерла ладони об куртку. – Мужикам ничего не делается. Полетел себе обратно на материк. Делов-то.

Протянула мне руку. Но я осталась стоять.

– Это плохая сказка.

– Почему?

– Потому что грустная. – Слова кололись на языке, как детское шампанское.

– А ты только веселые сказки любишь? Это потому что ты маленькая еще. Подрастешь и узнаешь, что все сказки в тундре грустные. Здесь веселое не выживает, ему слишком холодно.

– Почему?

– Вот так все устроено. – Катька подошла сама, натянула мне на лоб вязаную шапку, сбившуюся при ходьбе. – Пойдем лучше шикшу искать.

Шикши не было. Мы дошли до самой реки. Вначале она только серебрилась на солнце и рычала, потом начала рокотать, а потом и вовсе заслонила своим шумом весь остальной мир. От нее расходился стылый холод, словно от форточки полярной ночью.

– Ладно, – вздохнула Катька. – Брусники наберем и домой поедем.

Я помотала головой.

– У нас брусникой весь холодильник забит. Дядя Толя маме привез.

Катька хмыкнула, протянула:

– Ну если дядя То-оля… Но шикша на этом берегу не растет. Что тут поделаешь?

Другой берег был одинаково близко и далеко. С одной стороны, речка оказалась чуть шире, чем короб у нашего дома. С другой – она рычала и неслась так стремительно, что начинала кружиться голова. Вот только кромешная пустота за окончанием лета была страшней любой реки.

– Пойдем на другой берег, – выпалила я замерзшими губами.

– Нельзя! Ир Станиславовна запретила.

– А мы ей не скажем…

Катька взяла меня за плечи, повернула к себе.

– Не надо врать маме без причины, поняла? – сказала она строго, но от берега меня не увела.

– Мы осторожненько, – пообещала я. – Вернемся сухие и ей расскажем. Она не будет ругаться. Ну! Там же тундра настоящая! – Я бы расплакалась, но слезы замерзли.

Катька сжала меня сильнее, вздохнула.

– Ладно, но осторожно.

Рядом никого не было. Людей в Поселке почти не осталось. За нами наблюдала только сопка – заваленная снегом сверху, коричневая и лысая внизу. А под ней кипела ледяная вода. Катька повела меня по берегу.

– Тут перекинули доски, мостик получился, – объяснила она. – По нему пойдем. Но двоих доски не выдержат, придется по очереди. Сможешь?

Внутри у меня было щекотно и жарко – то ли от страха, то ли от растаявших слез. Я держалась за Катькину руку – мозолистую и сухую. На свете не было ничего надежнее этой руки. Уж точно не мостик через реку из скрепленных тонкой рейкой досок, подтопленных водой. Катька пробежала по ним не глядя. Даже ботинки не намочила. Потянулась ко мне. Я сделала первый шаг. Под ногами затрещало.

– Давай! Давай! – кричала мне Катька.

А я не могла пошевелиться. Внизу неслась к океану талая, снежная вода. Ей ничего не стоило подхватить меня и унести следом.

Не знаю, сколько я проторчала там. Катька сама собой оказалась рядом. Ботинки она повесила на шею, связав шнурки. Штанины закатала до колен. Вода била ей по ногам, сносила в сторону по скользким камням. Но Катька дошла до меня, подняла на руки и понесла на берег.

Мы долго стояли так. Я – на ее руках. Она – босиком на мокром ягеле. И даже комары, облепившие голые икры, не заставили ее опустить меня на землю и обуться, пока я сама не оторвала мокрое лицо от ее груди.

– Пуночки шикшу не ели, вот и нам не надо, – сказала Катька, вытирая мне щеки. – Лучше будем грибы собирать.

Пухлые боровички мы складывали в пакет из-под бутербродов. От грибов пахло осенью и землей, а еще обещанием супа и жареной картошки. Мы с Катькой почти не разговаривали. Но в этой тишине не было никакой сложности. Просто тундра не любила беседы и веселые сказки. Зато цвела куропаточьей травой и вереском, гудела мошкарой и дышала полярным днем. Одним из последних, что я застала.

До дома мы ехали долгим путем. Через площадь, где лежал валун, весь в медных прожилках. Мимо пустой поликлиники. Мимо домов на сваях и нашей школы с заколоченными окнами. На завалинке у дома Катька отдала мне пакет с грибами, похлопала по плечу.

– Ты только это… – замялась она. – Сестре не говори, что я про нее расспрашивала.

Я и забыла об этом. Между мной, едущей в настоящую тундру, и мной, что оттуда вернулась, был рокочущий поток Каатыря. Но я все-таки спросила.

– Почему?

Катька отвернулась, но призналась честно.

– Она взбесится, что я нос сую в ее дела. – И тут же спохватилась. – Нет, не подумай, что Надя плохая. Но меня она не любит. Не знаю почему.

Волосы у нее слиплись, повисли сосульками. Одной рукой Катька хлопала по рулю велосипеда, а другую поднесла ко рту и тянула зубами лоскуток кожи с большого пальца. От жалости у меня перехватило горло. Катька не видела себя со стороны и мучилась от непонимания, а я знала ответ. Разве можно знать, но не говорить, если другу очень нужно это услышать?

– Кать, она тебя не любит, потому что ты не такая…

– Какая не такая?

Катька рванула заусенец, из ранки полилась кровь.

– Непохожая на девочку, – выдохнула я.

Катька смотрела в сторону. Кровь текла по запястью. Она слизнула ее. Положила вторую руку на руль.

– Ну, бывай. Бабушке с мамой приветы мои.

Через полтора месяца я навсегда уехала на материк. Катю я больше не видела. И северную шикшу тоже. Но где-то там продолжает рычать и плескаться ледяная вода, несущаяся в океан. Иногда мне кажется, что я до сих пор стою над ней, не в силах сделать еще один шаг. И все жду, когда по скользким камням ко мне придет Катька. И спасет меня, пусть я этого и не заслужила.

ЗМЕЙ

НАТАЛИЯ ОСОЯНУ
Писатель и переводчик. Родилась в 1981 году, живет в Кишиневе. Окончила юридический факультет Кишиневского университета и аспирантуру МГЮА, с 2003 года занимается преподаванием и научной деятельностью. Автор нескольких книг в жанре фэнтези.

Здесь Некто есть. Здесь рыщет
Некто черный...

Хаим Нахман Бялик. Сказание о погроме
(пер. В. Е. Жаботинского)

Каждый раз, когда где-то неподалеку слышится звон разбитого стекла, ты мысленно удивляешься: неужели в городе еще остались целые витрины и окна? Эти хрупкие преграды между порядком и хаосом сдаются первыми, проливаясь на мостовую, на дощатый тротуар и грязь сверкающим дождем, и какая-то часть тебя – глубинная, темная – думает, что это красиво.

Проходя мимо разгромленной и как будто опустевшей бакалейной лавки, ты замечаешь, что внутри, словно крысы в куче мусора, продолжают копошиться трое. Они нашли запертую кассу и теперь пытаются ее вскрыть – возятся с замком, пыхтят и сквернословят. Ты улыбаешься краем рта: эти штуковины сделаны на совесть, трудиться предстоит час, а то и больше. Впрочем, этой троице никто не помешает – может, и помощники найдутся.

Увидев тебя, они ненадолго прекращают свое занятие и смотрят вслед, одновременно поворачивая треугольные морды с пылающими алыми глазами, словно три одинаковых игрушечных болвана. Им хочется погнаться за тобой, затащить в пещеру какого-нибудь опустошенного магазина, дать волю звериным инстинктам...

Но нельзя, ибо ты *отмечена*.

И поэтому ты идешь дальше, как будто не принадлежа этому городу резни.

* * *

В первый раз Сара видит Змея в ночь на среду, когда лежит без сна в своей постели, от мартовской прохлады укрывшись одеялом до самого носа и вдыхая горьковатый аромат сухой лаванды, которую тетушка Фейга хранит в шкафу с постельным бельем.

Комната Сары – самая маленькая в их с отцом квартире на втором этаже дома по улице Шмидтовской – окнами выходит во двор, где растет огромная старая липа. Последний снег растаял еще на прошлой неделе, но теперь девочка почему-то видит белый и пушистый покров на ветках; кое-где к тому же печально повисли обрывки ткани и бумаги, причем у последних обгоревшие края, словно кто-то с крыши разбросал все, что осталось от уничтоженной книги.

Змей сидит на подоконнике, и в полумраке блестят, как рубины, его глаза, все три. Одет он во что-то темное и мешковатое; на плечи падают черные кудри; из-под края хламиды выглядывают паль-

цы босых ног. А лицо… почему-то, кроме глаз, Сара ничего не видит, и это странно: ведь она разглядела вырванные из книги листы на ветках липы снаружи, должна бы и черты незваного гостя рассмотреть. Но кажется, что она смотрит на него сквозь взбаламученную лужу.

– Я так долго тебя искал, – говорит Змей и протягивает руку. – Идем со мной.

Воздух в комнате внезапно становится едким, ядовитым, словно его подменяет дым, и сердце Сары начинает колотиться от страха вдвое быстрей. Змей все еще тянет руку, и в мутной круговерти вокруг его третьего глаза постепенно проступает чешуйчатая серая кожа, туго обтягивающая безбровый лоб.

Сара безуспешно пытается вдохнуть; с каждой новой попыткой отравленный воздух обжигает легкие, и в конце концов они склеиваются внутри, как будто наполнившись черной смолой. Из углов комнаты подступает тьма, пожирает обстановку и саму ткань мира, а потом вдруг давится невесть откуда взявшейся деревянной фигуркой птицы, стоящей на комоде, и от этой запинки девочка успевает… проснуться.

Герш Белицкий с дочкой Сарой и незамужней младшей сестрой Фейгой приехали в Кишинев пять лет назад из Одессы, пожив до этого в нескольких городишках Киевской губернии. О том, что на улице Шмидтовской появился новый портной, скоро узнали все; еще через год он стал знаменитым и обзавелся достаточным количеством постоянных клиентов и клиенток, чтобы не переживать о будущем своей маленькой семьи. Когда сосед, лавочник Мойше Коган, намекал на правах друга, что предприимчивому молодому человеку стоило бы не вести себя, словно какой-нибудь *цилэйгер* или тем более *клоц*, а расширить дело – взять помощниц, например, да и вывеску нарисовать поярче, – Герш устремлял на него печальный взгляд больших глаз, окруженных преждевременными морщинами, и отвечал, что возможность лишний час провести с книгой для него важнее лишнего куска мяса, и Сара с Фейгой того же мнения.

Они действительно много читали – зная восемь языков на троих, по вечерам пересказывали друг другу повести и романы, которые Герш постоянно заказывал у местных торговцев или выписывал прямо из-за границы. К тринадцати годам Сара была начитанней не только всех своих сверстников, вместе взятых, но и большинства учительниц в женской гимназии сестер Гинкуловых. Впрочем, об этом мало кто догадывался: молчаливая дочь портного своими знаниями никогда не кичилась. Из-за этого – а еще из-за склонности так глубоко погружаться в мечты, что привести ее в чувство мог зачастую лишь удар учительской линейкой по столу, а то и по пальцам, – Сара по успеваемости была лишь второй в классе.

Сама Сара Белицкая была похожа на отца – щуплая, маленькая, с длинноватым носом и огромными серыми глазами, которые казались еще больше, когда она мыслями уносилась в другие края и времена, переставая моргать. Просто милая, слегка неуклюжая девочка с густыми черными волосами, которые Фейга заплетала в две косы и укладывала венцом.

– Фейга и *фейгеле*, – говорил Герш. – Мои птички-ангелочки.

– Со мной-то все ясно, – добродушно ворчала тетушка, встряхивая собственными косами. – А вот другая птичка рано или поздно расправит крылышки и все – *зай мир гезунд*!

Отец в ответ только смеялся.

На уроках Сара никак не может сосредоточиться: над математическими уравнениями размышляет так долго и усиленно, словно икс и игрек таят в себе принцип не менее важный, чем один из постулатов Рамбама, и ошибиться в решении означает упустить свой единственный шанс на постижение великой истины. А потом стоит перед картой Российской империи, где надобно отыскать озеро Балхаш, но видит лишь волны, пробегающие по этой карте, словно по шкуре какого-нибудь испуганного животного, и с каждой волной знакомые границы все сильнее смещаются, территория дробится и меняет цвет, с разных сторон на нее то наползает, то отступает тьма…

Странно, что никто другой этого не замечает.

– Белицкая, ну же, быстрее, – раздраженным голосом требует учительница, госпожа Кенигшац, и смотрит на Сару поверх очков. – Можно подумать, я велела указать, где живут потерянные колена Израилевы.

В одном она права: надо быстрее с этим покончить. Сара тыкает указкой наугад, попадает в Байкал, получает предсказуемую оценку и возвращается за парту, потупившись, хотя на самом деле не слышит ни слова из язвительной тирады Кенигшац про чересчур самонадеянных учениц, которым стоило бы помнить про экзамены. Шепот и встревоженные взгляды подружек текут мимо нее, как вода. Она вспоминает сон… да, все-таки сон.

Она думает про Змея.

Прежде всего, почему она убеждена, что этого… *это существо* следует называть именно так? Явившийся во сне незваный гость выглядел вполне человекоподобным, невзирая на третий глаз и странные одежды. И чешую. Да, чешую – но слово *«Змей»* всплыло в разуме Сары до того, как та проявилась, пусть на логику и последовательность событий во сне и нельзя положиться всерьез.

Ладно бы он предложил ей яблоко, а не просто протянул руку…

Так, в раздумьях, она возвращается домой сперва в компании девочек, потом одна; бредет мимо гостиницы «Лондон» и синагоги, через некоторое время начинает машинально здороваться по пути со всеми соседями и знакомыми, а потом оказывается возле родного дома. Ненадолго замирает у крыльца. На улице деревья сплошь молодые, их тоненькие веточки покрыты бледно-зеленой листвой, которая кажется слишком нежной для этой холодной весны… или, может, Сара просто заболела, ее знобит? Это бы объяснило странный сон и не менее странные блуждания по коридорам разума.

Книги и тетради – в ящик стола. Переодеться в домашнее платье. Фейга ушла на рынок, когда вернется – обязательно попросит помочь с ужином, но еще до того для нее найдутся дела. В приоткрытой двери отцовского кабинета – самой большой комнаты в их квартире, но не потому, что ему требуется для работы много места, а чтобы произвести впечатление на клиентов – виден привезенный из самого Киева манекен, к которому приколот изысканным образом задрапированный лоскут шифона; так Герш Белицкий прячет некрасивое пятно на «теле» своего бессловесного, истыканного булавками помощника. Мог бы его заменить, но, как сам признается, с годами стал сентиментальным и мысль о том, чтобы отплатить за верную службу черной неблагодарностью, вызывает у него дрожь.

Значит, они ждут гостя – или гостью, ведь Белицкий, как правило, шьет для дам.

Сара тихонько пробирается в ателье – и впрямь достаточно просторное, чтобы вместить одну-двух помощниц, про которых не устает говорить Мойше Коган, скорее всего, намекая на свою старшую дочь Иту; отец не сразу ее замечает – слишком увлечен сортировкой пуговиц. Потом он улыбается с привычной отрешенностью человека, думающего о важном деле, и рассказывает, в чем дело: вскоре должна прийти новая клиентка, некая *доамна* – то есть госпожа – Ана Шерпеску, жена богатого торговца антиквариатом из Бухареста, еще в январе приехавшая в Кишинев погостить у родственников. Дело ее мужа процветает, поэтому доамна Шерпеску большую часть года проводит то в Вене, то в Париже, то в Лондоне… словом, запросы у нее наверняка будут необычные.

– Но ты же справишься, – уверенно говорит Сара, и отец без тени сомнения заверяет, что да, ему по плечу и лондонские, и парижские модные причуды – вместе с книгами он постоянно заказывал и сообразные профессии журналы, знал все модные дома Европы и модельеров, которые ими заведовали, – только вот смутная тревога из его глаз никуда не исчезает. Сара понимает, что ошиблась с ее природой. Дело не в этой Шерпеску, какой бы придирчивой клиенткой она ни оказалась.

Он от нее что-то скрывает.

Разбираться нет времени, гостья уже пришла – за дверью слышен пронзительный голос Рахиль Коган: «Да-да, господин Белицкий живет здесь, вам сюда!» Сара смотрит на отца, тот с виноватым видом пожимает плечами – дескать, работа, сама понимаешь. Он быстро сгребает наполовину рассортированные пуговицы в жестяную коробочку, уничтожая тем самым плоды своего труда, и складывает газету, на которой они лежали. Сара успевает заметить подчеркнутые красным карандашом строки и даже прочитать несколько слов: «анилин», «фуксин», «евреи губят ви…».

Еще она видит заголовок газеты: «Бессарабец». Отец обычно читал «Бессарабские губернские ведомости», на худой конец – одесские «Новости» и «Листок», а эту не покупал и морщил нос, если видел ее где-нибудь.

– Что такое *фуксин*?

– Краска, – спокойно отвечает дочери Герш Белицкий. – Красная краска с сиреневатым оттенком. Как разбавленное вино.

Девочка по-прежнему ничего не понимает – с какой стати евреям губить вино? – однако теперь уж точно приходится отложить все разговоры: стучат в дверь, а потом бесцеремонная Рахиль Коган открывает ее и заводит в квартиру к соседу гостью; точнее, гостей.

Доамна Шерпеску довольно высокого роста, а из-за шляпки кажется еще выше, но в первую очередь Сара замечает, что клиентке, наверное, под шестьдесят – и это немного странно, ведь обычно о нарядах думают более молодые дамы. Степенные матери и бабушки семейств одеваются более строго и не так уж сильно следят за модой, чаще высказываясь о ней презрительно, чем похвально; она хо-

От этой невинной улыбки на плоском лице с раскосыми глазами – поразительно детском для взрослого, широкоплечего парня – у Сары как будто что-то сломалось внутри, и в тот день она с мучительным нетерпением ждала, когда же уроки наконец закончатся.

рошо это усвоила, наблюдая за классными дамами в гимназии и прислушиваясь к их разговорам между собой. Впрочем, если сравнивать с теми же классными дамами, румынка выглядит очень хорошо: она стройная, гибкая, с очень тонкой талией; не сутулится и не морщится – на бледном лице только морщинки от возраста в уголках глаз и чуть-чуть обвисли припудренные щеки. Черные волосы – ни единой седой пряди, явно поработал куафер – уложены в безупречную «раковину» на затылке. На губах помада терракотового цвета, в ушах скромные жемчужные серьги, и столь же деликатная нитка жемчуга – на шее, спрятанной под высоким воротником. Юбка, жакет и мантилья доамны Шерпеску темно-серого цвета, отчего она как будто вот-вот растворится в полумраке тесной квартиры.

С ней мальчик лет семи, одетый как маленький взрослый: брюки, жилет, пиджак и широкий галстук; все соответствующего размера и пошито очень искусно, без малейшей экономии при мысли о растущем детском теле. Но его лицо…

Сара уже такое видела: Петру, сторож в гимназии, как-то раз привел с собой сына, который повсюду ходил за ним, не выпуская из рук замызганную игрушку, рассматривал коридоры, картины на стенах, заглядывал в классы – все с одинаковой, неизменной улыбкой. От этой невинной улыбки на плоском лице с раскосыми глазами – поразительно детском для взрослого, широкоплечего парня – у Сары как будто что-то сломалось внутри, и в тот день она с мучительным нетерпением ждала, когда же уроки наконец закончатся.

Этот мальчик был таким же, как ей сперва показалось.

Только не улыбался.

– Бунэ зиуа, домнуле Белицки, – начинает румынка. – Ам венит… – Заметив легкую растерянность, с которой портной смотрит на дочь, безмолвно умоляя о переводе, гостья переходит на неплохой русский: лишь акцент выдает в ней иностранку, но все грамматические формы безупречны. – Я пришла, поскольку мне вас рекомендовала госпожа Сусанна Павловна.
– Супруга доктора Дорошевского? – с теплотой уточняет Герш Белицкий, хотя другой такой Сусанны в тех кругах, откуда явилась доамна Шерпеску, нет; все евреи в Кишиневе знают Николая Дорошевского и его жену. – Конечно-конечно! Буду рад вам услужить…

Они продолжают обмениваться любезностями, успевая вспомнить про погоду и природу, но Сара уже не слушает: она смотрит на мальчика, мальчик – на нее. По возрасту ребенок может оказаться как сыном, так и внуком красивой румынки, но при этом он совсем на нее не похож, разве что волосы такие же темные и прямые, однако редкие и прилизанные, словно мокрые. Может, он приемный?..

Но нет, у обоих вдовий пик: значит, все-таки родственники.

– …Да, такое меня вполне устроит, – заканчивает какую-то фразу доамна Шерпеску и внезапно впервые замечает присутствие Сары. Смотрит ей прямо в глаза, не мигая, и говорит тем тоном, каким тетушка Фейга обращается к молочнику на следующий день после того, как поймала его на продаже скисшего или разбавленного товара: – Выйди с Ионикэ во двор и погуляйте там, пока я не освобожусь. Ему полезен свежий воздух. Ду-те ку дынса, драгул меу. Тотул ва фи бине.

Последние слова она произносит если не с любовью, то с теплотой, но адресованы они, конечно, не Саре. Девочка, толком не успев опомниться, оказывается во дворе. Мальчик – Ионикэ – стоит рядом, и хотя она не осознала те моменты, когда взяла его за руку, а потом – отпустила, правая ладонь кажется горячей и липкой, словно Сара коснулась поверхности, на которой полежал полурастаявший леденец. У господ Шерпеску, конечно, достаточно денег, чтобы в карманах такого дорогого костюмчика можно было таскать леденцы без обертки…

Ионикэ, сунув руки в означенные карманы, без единого слова углубляется в недра двора – медленным шагом, изучающе поглядывая по сторонам. Двор общий, один на всех соседей, и это скорее хозяйственное подворье, чем место для увеселительных прогулок. Когда-то в дальнем углу были качели, привязанные к ветке огромного ореха, растущего за стеной, но они сломались, и никто не стал утруждать себя ремонтом. Сара толком не успела на них покачаться, а теперь ее считают слишком взрослой для подобных забав, в то время как другие дети в доме – совсем младенцы.

Хлам, собранный кем-то для старьевщика и забытый; высокие кусты чубушника, за которыми едва виден уличный туалет; та самая липа. Больше ничего интересного в обозримом пространстве нет, а после утреннего дождя двор к тому же пестрит лужами. Сообразив, что если Ионикэ промочит ноги, достанется ей, Сара устремляется следом за мальчиком, который как раз подходит к самой большой из этих луж.

– Везь? – гнусавым голосом спрашивает мальчик, и Сара знает, как это переводится.

Видишь?

«Ну вэд нимик», – хочет сказать она – *«Я ничего не вижу»*, – но осекается, потому что…

Вода в луже мутная, словно ее кто-то потревожил, но ряби на поверхности нет. Серая взвесь клубится, как дым в стекле, не выказывая даже намека на скорое успокоение. Клубится, вьется, порождает ураганы и водовороты – много разных водоворотов, притягивающих взор, пока один из них не становится крупнее и мощнее прочих. Сара смотрит; воронка кружится и продолжает расти. В самом центре открывается пятно черноты, и какая-то часть ее сознания отрешенно подмечает, что оно *намного больше* лужи, больше двора – да что там, в него бы запросто провалился весь дом, а то и весь Кишинев. Но каким-то непостижимым образом девочка одновременно стоит на твердой земле, рядом с румынчиком с раскосыми глазами, плоским лицом и липкой ладонью – и падает, падает в эту черноту, слышит чудовищный рев потока, который вечно низвергается в бездонную пропасть.

– *Скотос экзотерос*, – произносит чей-то голос, похожий и не похожий на Ионикэ Шерпеску. – *Смотри.*

Сара смотрит, поначалу не понимая, что еще она должна увидеть, а потом вдруг осознает, что поток воды на стенках воронки движется как-то странно – ровными выступающими полосами, испещренными ромбовидным узором. Они темно-серые, и чем дольше девочка смотрит, тем сильнее ей кажется, что это не вода, а сталь; полированные пластины, отливающие синевой, прилаженные друг к другу так, что и лист бумаги не пройдет. Витки вокруг нее, эта бесконечная спираль, уходящая во тьму, похожи то ли на машину, до которой не додумался даже Жюль Верн, то ли на…

Тело?

Стоит об этом подумать, как из самого центра тьмы выныривает голова громаднейшей рептилии: треугольная, покрытая все той же стальной чешуей, с тремя рубиновыми глазами, рассеченными надвое веретенцами зрачков, и с оскаленными желтыми клыками, меж которыми вьется раздвоенный язык цвета фуксина, и самый маленький клык размером превосходит старую липу, растущую у нее под окном.

Мысль о чем-то знакомом, близком и не страшном, причудливым образом помогает прийти в себя. Сара осознает, что на некоторое время перестала дышать, от чего сердце устало колотится в груди, как измученный узник, требующий выпустить его из темницы, шумит в ушах и как-то странно болит в затылке – будто жжется. По мышцам рук и ног пробегает волна за волной судорога. Она растерянно озирается в поисках чего-то еще понятного и простого, натыкается на плоское лицо Ионикэ.

– Ай вэзут? – тихо спрашивает мальчик. – *Ты видела*?

– Да… – выдыхает Сара и морщится, вспоминая нужное слово. – Ачяста а фост ун… балаур?

Дракон.

Мальчик качает головой и произносит слово – простое слово, знакомое слово, очень похожее на то, которое она совсем недавно мысленно сама произносила, и все-таки слышать его в таких обстоятельствах так странно, что Сара несколько раз переспрашивает.

– Змеу, – повторяет Ионикэ. – Ел ну есте ун балаур, ну аре арипь. Есте ун Змеу.

А потом, как будто в тумане, из дома выходят доамна Шерпеску и Герш Белицкий – неужели так много времени прошло, что с примеркой и прочими портновскими делами покончено? – и румынка, любезно попрощавшись с портным и его *фейгеле*, выходит на улицу, где ее, оказывается, ждет извозчик.

У ворот Ионикэ оборачивается напоследок, смотрит Саре прямо в глаза.

Улыбается.

И от его улыбки она наконец-то – почти с радостью – теряет сознание.

Вечерняя прохлада закрадывается в дом через каждую щель и, кажется, просачивается через все поверхности. Пуховое одеяло давит свинцовой тя-

жестью и совсем не греет: руки и ноги Сары превратились в ледышки, противно ноет внизу живота. Похоже, она все-таки заболела.

– Это не болезнь, – говорит сидящая рядом Фейга, словно прочитав мысли племянницы. – Просто ты стала… немного взрослее.

О подробностях того, что случилось сегодня, Саре совсем не хочется вспоминать, но привычка выполнять все упражнения в учебнике и подыскивать ответы на все вопросы в списке не позволяет окутать жутковатый во всех смыслах день кисеей блаженного забытья.

– Теперь так будет каждый месяц?

– Через некоторое время – да, – подтверждает Фейга, пристально глядя на нее. Тетушка лучше всех, кого знает Сара, умеет напускать на себя грозный вид, и ее черты к этому располагают: огромные черные глаза под бровями вразлет и нос с легкой горбинкой напоминают о хищной птице, о ястребе, сидящем на столбе ограды и обозревающем свои поля с земли почти с той же легкостью, как и с небес. Черные волосы с яркими белыми прядями – по словам отца, Фейга поседела в тот год, когда от холеры умер ее жених; а с ним и мама, которую Сара совсем не помнит, и еще много кто, – всегда чуть-чуть растрепаны, как их ни причесывай, и от этого кажется, что тетушку вот-вот подхватит ветром и она взлетит. – Так устроены женские тела. Вам же вроде бы преподают основы медицины? Ничего на эту тему не рассказывали?

Сара морщится и пожимает плечами.

– Девочки смущаются от рассказов госпожи Водовозовой про анатомию… поэтому мы просто учимся накладывать повязки куклам и друг другу. Да к тому же нечасто – эти уроки постоянно заменяют на что-нибудь другое.

– Столь же бесполезное, видимо, – фыркнув, отвечает Фейга. – Ну ладно. Самое главное я тебе уже объяснила, и ты всегда можешь задать мне любой вопрос о теле, взрослении… о любви.

– Тетя! – со смехом вскрикивает Сара и, вынырнув из-под одеяла, легонько шлепает Фейгу по плечу. Та смеется, явно довольная тем, что настроение девочки изменилось к лучшему, и тут Сара решает разобраться с последней деталью произошедшего, которая беспокоит ее, как слишком глубоко вонзившаяся заноза. – А вот это… ну, то, что происходит каждый месяц… бывает так, что оно вызывает видения?

– Видения? – переспрашивает Фейга, и что-то в ее хищном лице неуловимо меняется.

Теперь дороги назад нет. Сара рассказывает все без утайки.

Когда Герша Белицкого спрашивали, почему его еще достаточно молодая и, пусть не особо красивая, все-таки не уродливая и не калечная сестра не выходит замуж, он печально улыбался и говорил, что некоторым птицам в неволе жить не судьба. После смерти Хаскеля Вайсмана – студента-медика, который в меру сил пытался бороться со злополучной вспышкой холеры, унесшей в итоге полтора десятка жизней, включая его собственную, – несостоявшаяся госпожа Вайсман как будто утратила всякий интерес к замужеству и успела дважды отказать новым женихам еще до того, как обстоятельства заставили ее, Герша и маленькую Сару покинуть старый семейный дом в Бердичеве и навсегда забыть его адрес. В каждом городишке Киевской губернии, куда их заносила судьба, Фейга бестрепетно бралась за любую работу, позволяя брату все свободное время уделять совершенствованию своих портновских навыков. Когда у Герша завелись деньги и нужда мыть полы в учреждениях и служить санитаркой отпала, Фейга обучилась стенографии; потом год или около того посещала высшие женские курсы в Киеве и сама стала лучше зарабатывать, хоть и не посвящала брата в подробности своей необычной, слегка сумбурной жизни – даже с друзьями не знакомила, твердя, что у них не будет общих тем для разговоров, но, тем не менее, переживать совершенно не о чем.

Он ей верил. Разве могло быть иначе?

– Перед тем как все происходит, – задумчиво говорит Фейга после паузы, последовавшей за сбивчивым рассказом Сары про странный сон и еще более странное видение в луже во дворе, – женщины иногда могут чувствовать себя необычно. Со всеми по-разному: одна мучается от мигреней, другая становится очень раздражительной, третья рыдает над каждой сорванной зря былинкой и в придачу над собственной якобы погубленной судьбой. Ты же любишь фантазировать – да, Сара, не спорь с очевидным фактом. Возможно, твое живое воображение обратилось к этой сказке…

– Сказке? – перебивает девочка, краснея. – Какой еще сказке?

И Фейга рассказывает – не сказку, она ненавидит сказки всех народов мира, вместе взятых, – на ходу выкраивая из собственных воспоминаний и вычитанных в философских книжках умных мыслей пестрое, но крепкое полотно: змей предстает на

И Фейга рассказывает – не сказку, она ненавидит сказки всех народов мира, вместе взятых, – на ходу выкраивая из собственных воспоминаний и вычитанных в философских книжках умных мыслей пестрое, но крепкое полотно: змей предстает на нем чудовищем, чей смысл существования сводится к краже девиц, которых потом спасает царевич, рыцарь или – в местной версии – богатырь Фэт-Фрумос.

нем чудовищем, чей смысл существования сводится к краже девиц, которых потом спасает царевич, рыцарь или – в местной версии – богатырь Фэт-Фрумос. Тетушка не скрывает своей неприязни к пассивным девицам, и в целом ее мнение о сказках такого рода никак не назовешь снисходительным.

– А разве девушек воруют не драконы? Как их тут называют, *балауры*?
– Сама подумай, зачем *балауру* девушка, – с кривой улыбкой отвечает Фейга. – На завтрак? На обед или ужин? Нет, в этом смысле все чуточку хитрее устроено: Змей, даром что чешуйчатый гад, внешне напоминает человека. Только с тремя глазами, как тебе и привиделось. То ли у болгар, то ли у сербов есть поверье, что от Змея иной раз рождаются крылатые дети со всякими необычными способностями…

Саре не интересно слышать про детей Змея, какими их представляли себе болгары и сербы; ее настроение снова портится. Она никак не может поверить, что просто запуталась в собственных воспоминаниях, что на самом деле слышала такую сказку и ее обеспокоенный приближением *этих дней* разум выдал свою, переделанную версию. Что-то не вяжется в объяснении Фейги.

– Но как же лужа?
– О, с лужей все еще проще. – Тетушка небрежно машет рукой. – Помнишь, ты в ноябре читала «Низвержение в Мальстрем» и с восторгом его мне пересказывала? Воронка невероятной глубины, вращающиеся стены, бездонная пропасть – все сходится!

Ничего не сходится, однако у Сары пропадает всякое желание доказывать Фейге, что та ошибается. Пренебрежение, которое демонстрирует тетушка относительно ее страхов, вызывает смутную обиду, словно она не стала «немного взрослее», а наоборот, вновь превратилась в малышку, чье мнение взрослым не указ, если оно не касается кукольных нарядов или цвета леденца на палочке. Ход мыслей Фейги, такой холодный и рациональный, ее раздражает.

Так или иначе, час уже поздний, и хоть Фейга вместе с Гершем заверили Сару, что на занятия она завтра не пойдет, привычки и предыдущая беспокойная ночь берут свое: она начинает зевать, голос тетушки доносится будто сквозь вату, и чары сна вынуждают стены маленькой комнаты причудливым образом раздвинуться, превращаясь в подобие королевской спальни.

Сара засыпает.

Приходит Змей.

Он по-прежнему трехглаз и окутан туманом, в котором посверкивают три кроваво-красных глаза и лишь изредка мелькает то серебристо-серая кожа, покрытая чешуей, то длинные пальцы, такие же серые и когтистые. Его движения исполнены сверхъестественной плавности, как будто в теле – с виду как раз вполне человеческом – суставов на порядок больше положенного или попросту нет костей. Узкая девичья кровать Сары превращается в огромное ложе из черного дерева, под балдахином с тонкой и блестящей, словно металл, вышивкой: сине-зеленые, хаотично разбросанные павлиньи перья, но в центре каждого глаза на пере – веретено зрачка. На спинке изножья неподвижно сидит птица, силуэт во тьме; то ли сокол, то ли ястреб. Постель – чернейший атлас; такая же гладкая, скользкая рубашка холодит ей кожу.

Мраморный пол блестит, словно лед цвета полуночи; дальние углы и потолок громаднейшего помещения теряются во тьме, но Саре кажется, что там есть фигуры еще на полтона темнее, и они движутся.

Змей ходит кругами на расстоянии, быть может, десяти шагов от ложа – поскольку вокруг больше ничего нет, трудно сказать наверняка. Может, на самом деле он великан и их разделяет верста. Может, если сойти с этой проклятой кровати на черный пол, она рухнет сквозь него и проснется.

Или нет.

– Я так долго тебя искал. – Змей повторяет ту же фразу, что и в прошлом сне. Голос у него приятный – низкий, обволакивающий, – и Сара, содрогнувшись всем телом, внезапно понимает, что вот-вот начнет погружаться в атласную гладь простыней, словно муха в чернейший мед. – По пустыням царств древних шел я за тобой. Вдоль рек вавилонских шел я за тобой. Там, где костры пылали, искал я тебя… И вот ты здесь. Ты, для которой время и пространство – не преграда.

«Кто ты такой?» – хочет спросить Сара, но голос подводит, и остается лишь сидеть молча, внимательно следить за туманной фигурой Змея, которая, к счастью, не приближается. Ему как будто что-то мешает.

– Ты не такая, как все, – продолжает Змей. – Ты умнее всех, ты красивее всех, отважнее всех, и у тебя есть великий дар. Идем со мной. Иначе ты в этом городишке просто зачахнешь.

Происходящее совершенно не похоже на сон или – как там выразилась Фейга? – плод *живого воображения*.

– Я не хочу здесь быть, – наконец удается ей выговорить. – Отпусти меня.

Змей, однако, не слышит ее слов или просто их игнорирует. Он продолжает размеренное движение по кругу, словно деталь механизма, о чьем смысле и предназначении можно только догадываться. Взмахивает рукавом просторного одеяния, переходит на совершенно незнакомый Саре язык, звучащий так, словно каждое слово – гвоздь, который пытаются вбить прямо ей в затылок, и, к счастью, произносит лишь несколько коротких фраз. Потом он вновь переходит к уговорам и посулам.

– Я хочу увенчать тебя короной из черных бриллиантов. Хочу подарить тебе веер из ангельских перьев и накидку из шкуры звездного зверя. Если пожелаешь, вся Вселенная ляжет пред тобою, как книга, и ты решишь, открыть ее или бросить в очаг. Мне подвластен мир зримый и незримый, от подземных черных океанов до хрустальных небесных сфер. И все это может стать твоим…

Смотреть на него становится больно, и Сара переводит взгляд на пол, который уже не черный, а прозрачный; миг спустя она проваливается в это прозрачное пятно, не телом, а чем-то неощутимым – разумом? душой? – и ее взгляду открывается картина, причудливая в своей банальности. Она видит поселок с двухэтажными, одинаковыми домами из красного кирпича, от одного взгляда на которые ее почему-то тошнит и бросает в дрожь, хотя они с виду совсем не страшные. Их, быть может, десятка два, расположены они ровными рядами, и по краям застроенного пространства виднеются другие здания. На улицах нет ни души, единственный признак жизни – далекий лай собак.

Вокруг этого странного места – высокий забор, и над воротами имеется надпись, но поскольку Сара видит ее изнутри, шиворот-навыворот, да к тому же всего лишь на долю секунды, она не успевает ничего прочитать. Лишь на самом дне разума остается смутное ощущение, что это была какая-то цитата.

Сон во сне обрывается быстро и резко, вызывая новый приступ тошноты, с которым непросто справиться. Сара смотрит на Змея, который теперь стоит слева от ложа, на расстоянии все тех же десяти – или более – шагов, и три его красных глаза пристально глядят на нее из тумана.

– Идем со мной, – говорит Змей. – Стань моей женой.

По сравнению с увиденным, с этими бараками из красного кирпича, от которых веет жутью, предложение кажется до такой степени нелепым, что Сара, не успев совладать с эмоциями, совершает единственный поступок, по поводу которого отец когда бы то ни было ее предостерегал: «Так нельзя поступать на людях».

Она запрокидывает голову и громко, от всей души хохочет.

* * *

Ты идешь вперед, и улица впереди покрыта снегом, хотя сейчас теплый апрель и в воздухе витает аромат цветущей акации. Снег повсюду: на обломках мебели и обрывках одежды и занавесок, на обгорелых останках священных книг и свитков, на устремленных в небо пустых глазах трупа с вывороченной нижней челюстью.

Из дверей разгромленного магазина выбегает молоденький перепуганный приказчик, спотыкается и падает лицом в грязь. Следом за ним выскакивают двое, трое, пятеро с треугольными мордами и дубинками, начинают его бить куда попало, но большей частью – по голове, по лицу. Один тыкает дубинкой прямо в рот, и сквозь вопль мучительной боли отчетливо слышен хруст выбитых зубов и ломающейся кости.

Снег безмятежно падает на головы погромщиков, на спину скорчившегося посреди улицы приказчика.

Мимо проходит отряд в мундирах, не замечая ни тебя, ни избиения в грязи, ни того, что продолжается в магазине.

Наверное, сквозь метель им плохо видно.

* * *

Ты об этом пожалеешь.

«Никакой школы, – окончательно решает Фейга при виде ее бледного лица и темных кругов под глазами. – Побудешь несколько дней дома. Я сама все объясню твоим классным дамам».

Что ж, неплохо: в голове у Сары слишком много мыслей, для уроков места почти не осталось. После завтрака тетушка уходит по своим делам, отец удаляется в кабинет-ателье, чтобы начать работу над заказом госпожи Шерпеску. Сара сперва пытается заниматься, чтобы прогнать из головы фразу, которую сказал Змей, прежде чем исчезнуть; осознав, что просидела над открытым учебником не меньше получаса, так и не перелистнув страницу, сердито ворчит себе под нос: «Ну и дура».

Встает, подходит к окну, смотрит на липу и вспоминает, как выглядел снег на ее ветвях.

Потом тихонько подкрадывается к отцовской двери и, обнаружив ее гостеприимно приоткрытой, входит – неслышно, как сквозняк.

Ты об этом пожалеешь.

Против всех ожиданий, Герш Белицкий не занят расчетами, вычерчиванием выкройки, раскладыванием ткани на рабочем столе или чем-то в этом духе. Он даже не рисует в своем альбоме заказчицу в еще не существующем наряде – а силуэт у Шерпеску вполне модельный, эскиз вышел бы красивым во всех смыслах. Он просто сидит в кресле у окна, обложившись книгами и тетрадями: три на подоконнике, открытые; две – на коленях, и еще один толстый потрепанный том валяется на полу, достаточно близко к креслу, чтобы его можно было поднять, не вставая.

– Что ты делаешь? – спрашивает Сара, не скрывая удивления.

Герш смотрит на дочь поверх очков, потом кивком указывает на стоящую вблизи от кресла табуретку – на ней лежат еще две старые тетради с секретами портновского мастерства, причем некоторые записи сделаны чужим почерком.

– Она заказала что-то необычное, – догадывается Сара и улыбается: отец любит сложных клиентов и клиенток, чьи капризы и фантазии заставляют ломать голову, а потом трудиться дни и ночи напролет.

– Госпоже Шерпеску необходимо домашнее платье, в котором она будет чувствовать себя, цитирую, *легко и свободно, как змея, плывущая по поверхности водоема.* – От слова «змея» Сара слегка вздрагивает, но Герш этого не замечает. – Понимаешь, на что она намекала?

Ты об этом…

– Нет…

– Корсет. Белье. Ей нужна вещь, которую можно надеть на… хм… просто надеть, саму по себе, без ничего. Она даже поначалу заявила, что следует обойтись без пояса, но потом смилостивилась и разрешила его соорудить, если другого выхода не останется. По ее словам, платье должно быть красивым и совершенно не стесняющим движений.

…Пожалеешь.

– Пусть бы завернулась в простыню, – бормочет Сара, чье настроение вновь бесповоротно испорчено. – Ни швов, ни поясов, только заколоть чем-нибудь на плече. Да и на портном можно сэкономить.

– Совсем наоборот, она не желает экономить, – весело отвечает Герш и еще одним кивком указывает Саре за спину. – Это прислали вчера, пока ты была в своей комнате с Фейгой.

Она поворачивается, потом вскакивает, лишь теперь заметив лежащий на рабочем столе отрез… шелка? Да, похоже, это и впрямь шелк, но такого качества Сара ни разу не видела, не ощущала. Тонкий, но прочный; гладкий и чуть теплый на ощупь, словно кожа живого существа, а не мертвая ткань; струится сквозь пальцы, как морская вода, и даже цветом отчасти ее напоминает. Серовато-зеленый, с металлическим отблеском, похожий на…

Змеиную шкуру.

Сара стискивает зубы, сдерживает рвущийся на волю стон: это какое-то безумие! Почему ее окружают сплошные змеи? Она не удивится, обнаружив гадюку в своей постели, и даже в самом слове «обнар*ужить*», оказывается, притаился ползучий, пусть и безобидный, но все равно гад.

…Пожалеешь.

Она злится и слушает отца лишь краем уха, подмечая только самое главное: да, он тоже первым делом подумал про тогу, но тога – не платье, да и сари не подойдет, потому что к нему полагаются тугая блуза и нижняя юбка. Но он, отталкиваясь от этих двух образов, придумал кое-что действительно простое и элегантное. Загвоздка лишь в том,

Сара стискивает зубы, сдерживает рвущийся на волю стон: это какое-то безумие! Почему ее окружают сплошные змеи? Она не удивится, обнаружив гадюку в своей постели, и даже в самом слове «обнаружить», оказывается, притаился ползучий, пусть и безобидный, но все равно гад.

как воплотить идею в жизнь, не испортив дорогую ткань.

– Она хорошо заплатит? – машинально спрашивает Сара.

Герш впервые смущается и чешет переносицу полусогнутым указательным пальцем, безуспешно пытаясь скрыть эмоции. А потом честно пересказывает еще один отрывок разговора с Шерпеску, на этот раз не своими словами, но как можно точнее повторяя ее фразы, чей смысл довольно загадочен.

«Понимаете, домнуле Белицки, для меня это очень важно. Я не поскуплюсь; главное, чтобы у вас все получилось».

«Да, я это уже принял во внимание. Но и вы поймите: я не могу работать, не зная, сколько мне заплатят».

«Я уже сказала: столько, сколько вы захотите».

«Но так не принято!»

Рассмеявшись, она потянулась к кошельку.

«Ну хорошо, домнуле Белицки. Вот вам в качестве аванса… хм… триста рублей, я думаю, сумма вполне достойная. Но мое обещание остается в силе: если вы сумеете выполнить заказ, с которым не справились четверо портных только за последние полтора года, вам останется лишь озвучить свои желания. Они воплотятся в жизнь – и сможете больше не работать. Да, мои возможности в некотором роде беспредельны».

– И ты согласился?

Герш пожимает плечами. Сара не сомневается в честности отца, он не возьмет с румынки больше, чем стоит его труд, но сумма аванса сама по себе велика… Где-то тут кроется подвох.

Ты об этом пожалеешь.

– Мое ремесло таит в себе определенные риски, – говорит Герш. – Но сама посуди: у нее и ее супруга репутация достойных людей, я проверял. Она доверила мне эту ткань, можешь не сомневаться, тоже весьма дорогую. И ее заказ действительно отличается трудностью – она сказала, один модельер из Вены так замучился и расстроился из-за этого платья, что… хм… ну, в общем, он умер.

– Рассчитываешь на успех?

– Рассчитываю на деньги, – отвечает отец. На его лице, некрасивом и большую часть времени довольно-таки унылом, мелькает тревога, которую Сара заметила вчера. Помедлив несколько секунд, словно взвешивая все за и против, он прибавляет: – Они нам не помешают. Возможно, скоро придется отсюда уехать.

От потрясения Сара теряет дар речи: просто смотрит на отца, приоткрыв рот, что даже по меркам их необычной семьи считается нарушением приличий. В этом доме на улице Шмидтовской они живут пять лет, и предыдущие переезды успели сплавиться в ее воспоминаниях в одно большое, суматошное и пугающее событие. А как же гимназия… ее подруги, и даже классные дамы, пусть на них и принято ворчать… ее книги – вся семейная библиотека, которая за прошедшие годы росла, как тесто под полотенцем! Уехать с этих извилистых пыльных улиц, где еврейская, румынская и русская речь звучит так легко и привычно, где цветет липа под окном, где Сара знает по имени всех обитателей длинной Шмидтовской и большинства окрестных кварталов…

Все равно что отрубить себе руку.

– Держи. – Пошарив по другую сторону от кресла, отец достает и протягивает ей стопку газет. – Прочитай отмеченное, а потом мы это обсудим. И не переживай заранее – может, обойдется, если же нет… В Европе множество хороших школ, знаешь ли. И еще есть Америка. Иногда я думаю про Сан-Франциско. Раз уж мы иной раз не в силах остаться, можно хотя бы выбрать путь.

И он снова устремляет взгляд на тетрадь с заметками, лежащую на коленях поверх другой такой же тетради и книги, как теперь видит Сара, по ис-

тории костюма. Это выражение лица ей знакомо, оно означает «Теперь я должен поработать».

Она забирает газеты – и видит, что сверху опять «Бессарабец», примерно двухнедельной давности.

И вновь одна заметка обведена красным карандашом.

…*Пожалеешь.*

Сара знает: с такими, как они, все непросто, и так было испокон веков.

Ну… практически.

Их семью не назовешь религиозной: Герш в синагоге бывает раз в году, а Фейга язвительно хмыкает при любом упоминании обрядов, правил и всего такого, но каждый год перед Песахом – разумеется, *совершенно случайно* – устраивает генеральную уборку, и также *случайно* из дома пропадает вся некошерная еда, и еще *кто-то* забывает на праздничном столе бокал вина для пророка Илии. Сара, конечно, лишь недавно осознала, почему противоречия между словами и поступками тетушки забавны, однако праздник ей нравится, мацу, марор и харосет она любит, не говоря уже про гефилте фиш, да к тому же сомневаться в решениях и авторитете Фейги… нет, даже пробовать не стоит.

«Бог есть, – сказал отец как-то раз в ответ на ее робкий вопрос. – Он есть, это точно. А христианский он, иудейский или еще какой-то – не знаю, и, думаю, это не моего ума дело. Мне бы иголки не растерять да пуговицы не перепутать».

Однако не все евреи согласились бы с Гершем Белицким в этом вопросе и в том, как именно следует почитать Б-га – многое из того, что он говорил и делал, для них было *бизайон*, святотатство. По этой причине маленькая семья Белицких сделалась чужой для всех: представители других народностей, населявших Кишинев, редко разбирались в нюансах, и евреи для них были на одно лицо с печальными очами и длинноватым носом; пейсы – по обстоятельствам.

Тот факт, что Сара в последний раз видела прочих родственников в младенчестве и всех успела позабыть, тоже был каким-то образом связан с религией, но она бы ни за что не отважилась приставать к отцу или тетушке с расспросами.

Итак, жизнь евреев была сложной, и Белицкие сполна испытывали на себе эти сложности. Герш зарабатывал достаточно, чтобы переселиться в один из более престижных кварталов по другую сторону Александровской улицы, но не стал этого делать, потому что там, как он выразился, был *совсем другой птичник*, и на выскочку-портного смотрели бы с ненавистью и презрением, пусть он и не стал бы первым евреем, осмелившимся перейти Рубикон. Время от времени на Шмидтовскую забредали подозрительные молодчики; кому-то разбивали витрины или рисовали на дверях и стенах гадости; на Новом рынке и площади с каруселями часто дрались и кричали друг другу обидные слова. Но все-таки жизнь в Кишиневе казалась достаточно тихой, чтобы обмануть самих себя, убаюкать заверениями в том, что все хорошо – было, есть и будет.

Что же теперь?

Сара читает отмеченные красным абзацы, и ее бросает то в жар, то в холод. На страницах газеты евреи – а с ними и она сама – предстают злобными, лживыми, продажными тварями, ради выгоды способными на любые мерзости. Изготовить «вино» из растворенной в воде, подкрашенной фуксином патоки или бузины? Пожалуйста. Сговориться с другими мошенниками, чтобы половчее водить за нос ни о чем не подозревающих иноверцев, даже страждущих и больных? Запросто! Почему-то именно эта заметка вызывает у Сары особенно сильный гнев: всем известно, как преобразилась Еврейская больница под руководством доктора Слуцкого, и винить его соратников в каких-то там *заговорах* – подло! Но «Бессарабец» на этом не останавливается, изливая со своих страниц все новые поводы для ненависти к народу, лишенному родины, – причем чаще всего делает это исподволь, будто бы между строк, словно подбрасывая доверчивым рыбкам вкусное угощение на блестящем и остром крючке.

Самые жуткие вещи, однако, ждут Сару в мартовских номерах. История о некоем подростке из Дубоссар, убитом еврейским лавочником ради *крови для мацы*, кажется верхом бреда даже ей, тринадцатилетней девочке… но, с другой стороны, она-то знает, как готовят мацу, в отличие от большинства читателей «Бессарабца». Череда намеков и многозначительных подмигиваний, адресованных простым местным жителям, сменяется прямыми обвинениями в чудовищном – и к тому же чудовищно абсурдном – преступлении.

Не в силах усидеть на месте, Сара выскакивает из комнаты с газетой в руках, собираясь ворваться к отцу, пусть тот и будет недоволен, но натыкается на Фейгу, которая как раз входит с улицы с полной корзиной покупок. Сверху лежат несколько газет.

Увидев бледное и дрожащее лицо племянницы, смятый номер «Бессарабца» в ее руке, тетушка мгновенно понимает, что произошло. Со странной кривой улыбкой она прикладывает палец к губам –

тсс! – и аккуратно вытаскивает одну газету из-под ручки корзины. Протягивает девочке.

Это вновь проклятый «Бессарабец». Сара громко шуршит, расправляя листы, скользит взглядом по полосам и быстро находит нужное: заметку, озаглавленную «Опровержение». Не веря своим глазам, она перечитывает текст трижды, и углы ее рта сами собой расползаются в стороны.

– Они во всем разобрались! – громко шепчет Сара, не обращая внимания на то, как Фейга хмурится и машет рукой: тише, тише! – Евреи не убивали этого Мишу! Бедный мальчик… Ну разве можно печатать такие злобные и глупые сказки? От такого могло случиться ужасное!
– Кто-то хотел, чтобы случилось ужасное, – замечает Фейга без особой радости.

Такая идея не помещается в голове у Сары.

– Но не случилось! – восклицает она, отбросив безуспешные попытки говорить тихо. За дверью ателье слышится дробный перестук, словно кто-то от неожиданности уронил коробку с катушками, и Сара представляет себе, как они катятся в разные стороны по полу. – Папа! Папа! Нам не надо никуда уезжать! Теперь все будет хорошо!

Она не замечает горестную улыбку Фейги.

Она от радости порхает, словно бабочка, до самого вечера.

А ночью приходит Змей.

Их третья – третья ли? – встреча длится недолго, причем такой сценарий оказывается неожиданностью не только для Сары, но и для самого трехглазого существа. Она *просыпается* на той же черной кровати посреди зала, погруженного во тьму, и Змей по-прежнему движется по кругу с неизвестным радиусом. Но стоит ему открыть рот – Сара этого не видит, просто успевает расслышать несколько произнесенных звуков, – как сидящая в изножье птица взмахивает крыльями и издает пронзительный крик хищника, завидевшего в траве мышь. Змей резко останавливается, смотрит на нее, вскидывает правую руку и шипит что-то на языке, который причиняет боль. Птица без малейших признаков смятения или страха кричит опять, громче и яростнее. Это повторяется снова и снова; с каждым разом Сара чувствует прилив сил. Она и не рассчитывала на помощь!

Змей застывает столбом, сверля ее рубиново-красным взглядом, что-то шипит.

Исчезает.

Но от этого неожиданного поворота течение сна – *сна?* – не прерывается, и Сара остается сидящей посреди устланной черными простынями кровати, одетая в атласную рубашку, которая держится на плечах лишь благодаря тоненьким бретелькам. Она смотрит на птицу, ожидая подсказок, но та уже сложила крылья и обернулась изваянием или чем-то вроде. Сара подползает ближе, приглядывается: кажется, это все-таки сокол. Крючковатый короткий клюв, большие глаза, серо-черная спинка и белое брюшко с пятнышками.

– Спасибо, – шепчет Сара, но ее спаситель не шевелится.

А потом она оборачивается и носом к носу сталкивается с омерзительной старухой, которой секунду назад тут совершенно точно не было: физиономия как заплесневелый сыр, выпученные глаза с бельмами, нечесаные патлы… и, ко всему прочему, она голая. Старуха тянет к Саре перепончатую желтую лапу с когтями – девочка каким-то образом успевает заметить, что ноги у нее пупырчатые, покрытые пухом, как у плохо ощипанного гуся, – и сокол в изножье опять пронзительно кричит. Черный зал превращается в мутную круговерть, Сара утрачивает всякое представление о том, где тут верх, а где – низ, и зажмуривается; вместо тьмы, однако, она видит нечто странное.

Она видит… людей?

Темное помещение, заставленное двух- и трехъярусными кроватями; куда ни кинь взгляд – повсюду кто-то лежит, кутаясь в ветхое тряпье или просто сжавшись в комочек, закрывая голову руками то ли в тщетной попытке заснуть, то ли желая скрыть от себя окружающий мир. А может, скрыться от него. Сара видит изможденные желто-серые лица, обтянутые кожей и смахивающие на черепа; коротко, как попало остриженные макушки; страдальчески оскаленные больные зубы. Кто-то тихо плачет позади нее, завывает на одной ноте, и от этого плача остатки ее самообладания рассыпаются в прах. Она чувствует прикосновение к плечу, а миг спустя краем глаза замечает длинные пальцы, покрытые темно-серой чешуей и увенчанные рубиновыми когтями.

– Нравится? – спрашивает Змей.

Ты об этом пожалеешь.

Просыпаясь, Сара успевает осознать: тихий, отчаянный плач был ее собственным.

* * *

События путаются в твоем разуме, в том, что от него осталось; больше нет ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего, лишь одно мгновение – нет.

Горсть мгновений, рассыпавшихся по полу, словно пуговицы из опрокинутой жестянки, словно бусины из благородного венецианского стекла, что меняют цвет, если покрутить их в пальцах. Всякий раз, когда тебе кажется, что ты нашла последние, обязательно обнаруживаются еще несколько, и это длится, длится, длится…

Ты видишь трупы – десятки трупов, лежащие на полу в просторном помещении, укрытые простынями, не скрывающими уродливых ран, ибо взгляд твой пронзает все покровы.

Ты видишь женщин, которые с мокрыми от слез лицами отдают детей другим женщинам, и те их принимают – а потом из дома выходит мужчина и вынуждает отдать обратно, чуть ли не вышвыривая младенцев через забор.

Ты видишь сбившуюся в кучу семью на каком-то захламленном чердаке и слышишь, как снаружи доносятся вопли: *«Папа! Папа, спасай! Меня убивают!»*

Ты видишь людей, которые, вооружившись чем попало, разбивают стену между двумя домами, чтобы спастись от этих, с треугольными мордами – но им навстречу выходит сосед с заряженным ружьем и заявляет, что убьет каждого, кто переступит порог его двора.

Ты все это видишь и идешь вперед. *Он* следует за тобой по пятам.

* * *

Дни, оставшиеся до Песаха, похожи на погружение в трясину. Черная, липкая жижа сперва проглатывает ступни и голени, уничтожая шансы на побег, а потом поднимается все выше и выше, подбираясь к горлу. Скоро Сара утонет в ней по самую макушку и либо задохнется, либо научится дышать грязью и станет уже не Сарой, но кем-то совсем другим.

Змей приходит не каждую ночь, и птица всегда прогоняет его почти сразу, но легче от этого не становится: Сара все равно видит изможденных людей в бараках, а еще – людей, стоящих голыми на морозе, на краю огромной ямы, людей, похожих на скелеты, бредущие по грязному, чуть припорошенному снегом полю, под низким небом свинцово-серого цвета. Каждое видение отнимает силы, и вдвойне тяжелей от того, что ей даже не с кем об этом поговорить. Мнение Фейги уже известно, а отец…

А отец работает. Герш Белицкий усердно трудится над заказом госпожи Шерпеску, которая приезжает к ним домой еще дважды – к счастью, без сына, или кем ей приходится тот странный мальчик, – и с каждым разом отец Сары мрачнеет. Она пытается задавать вопросы, но не успевает даже произнести их до конца; все в порядке, он справится, просто пришлось снять дополнительные мерки, все в полном порядке, порядке, *порядке*. На лице госпожи Шерпеску – улыбка не толще шелковой нити, глаза блестят, как новенькие иголки. Она обещает скоро заглянуть еще раз, просто так. Временами кажется, что она никуда и не уходила – вот же, поглядите, стоит за плечом Герша Белицкого, когда он отрешенно смотрит на остывающий чай, бродит по комнатам и трогает вещи, и Фейга потом злится, мол, почему они не на своих местах? Даже сидя с тетрадями и учебниками возле окна, за которым старую липу опять осыпало невесть откуда взявшимся снегом, Сара ощущает присутствие незваной, невидимой гостьи.

Ты об этом пожалеешь.

Отец постепенно перестает разговаривать с ней и Фейгой, все чаще запирается в мастерской, и оттуда доносятся странные звуки, не свойственные тихому труду портного. Шипение… ну, это должен быть утюг. А что за ритмичное постукивание? Деревянный скрежет? Как будто за дверью работает какой-то станок вроде ткацкого, но Сара точно знает: ничего подобного там нет.

Еще ей временами кажется, что она слышит чужие шаги, легкие, но какие-то неправильные и скрипучие, словно ходит туда-сюда хромец, опираясь на клюку. Но это уж точно мерещится, или старый дом морочит ей голову, передавая звуки из отдаленных, *чужих* комнат.

Ты об этом…

Странности следуют одна за другой, словно подчиняясь необъяснимой и непредсказуемой закономерности. Госпожа Кенигшац, перепутав карты для урока географии, посылает Сару в кладовую за нужными – классной даме нравится заставлять портновскую дочь делать то, чем должна заниматься школьная прислуга; так она воспитывает в Саре *смирение*. В большой комнате, где хранится учебный инвентарь и множество разнообразных материалов для демонстрации, Сара находит шкаф, в котором сложены карты, и начинает искать ту, за которой ее отправили, а потом чувствует чей-то взгляд. Кого-то из младших девочек тоже прислали за учебными пособиями? Или… за ней следят? Она оглядывается раз, другой, медлит, уже понимая, что очередного выговора от Кенигшац – за опоздание – не избежать; в кладовой никого нет. Но взгляд по-прежнему ощущается, он устремлен ей в спину, как… как… мучительно подыскивая сравнение, Сара

понимает: как вороненое дуло. А сама она будто стоит на краю той ямы из ночного видения.

В какой-то момент повернувшись резче обычного, она замечает движение за шкафом с противоположной стороны комнаты и решительно делает шаг в его сторону, а потом осознает: шкаф стоит вплотную к стене, за ним не спрятался бы и ребенок.

Шевеление происходит не *за* полками, а *на* одной из них.

Шевелится заспиртованная черная змея в большом стеклянном сосуде, закупоренном пробкой; витки ее тела тянутся, завязываются сложным узлом, из центра которого в конце концов выныривает треугольная башка с красными глазами и раздвоенным языком. Цок! От тычка изнутри сосуд слегка покачивается, хотя он стоит далеко от края, и такого удара явно недостаточно, чтобы свалить стеклянную тюрьму на пол. Змея замирает, как будто размышляя, а потом опять завязывается в узел.

Приступ рвоты накатывает стремительно, как прилив у горы святого Михаила, что на севере Франции, и потом Сара еще минуту-другую отупело глядит на мерзкую лужицу, понимая, что надо отыскать ведро и тряпку, прибрать после себя. Но сперва она решает отнести карты в кабинет, где заждалась Кенигшац, и там честно признается, почему должна снова уйти с урока. Дама, против всех ожиданий, ее не отчитывает, а окидывает изучающим взглядом с ног до головы, жестом велит занять свое место и, выйдя в коридор, зовет Петру.

От облегчения Саре хочется плакать.

...Пожалеешь.

Дома она ничего не рассказывает, и вопросов ей не задают: Герш занят заказом Шерпеску, а Фейга, наскоро приготовив ужин, углубляется в чтение каких-то бумаг, бросив мимоходом, что ей нужно подготовиться к завтрашнему собранию с *товарищами*. Вид у нее при этом делает очень серьезный и даже мрачный. После вечерней трапезы, однако, отец и тетя смягчаются, добреют, начинают рассказывать всякие смешные истории из прошлого, как известного Саре, так и более далекого, после чего Герш вдруг решает поведать им любопытную вещь, по его словам, объединяющую портновское мастерство с высоким искусством. Он вычитал в одной из своих книг, что волнообразно изогнутая линия, похожая на латинскую S, служит воплощением гармонии и красоты у самых разных культур, большей частью европейских. Она выражает движение, жизнь, в то время как прямая линия символизирует застой и даже смерть. Герш сыплет фамилиями мудрых итальянцев и англичан, потом начинает рассуждать об изгибах женского тела, которые его новое платье будет безукоризненно подчеркивать, усиливая тем самым гармонию, а Сара, вспомнив несколько известнейших картин эпохи Возрождения, чьи репродукции им показывали на уроках, с содроганием понимает: он прав. Змеи притаились повсюду. В поворотах изысканных шей, в руках красавиц и крыльях ангелов... и даже в очертаниях перил красивой барочной лестницы, ведущей на второй этаж в здании гимназии сестер Гинкуловых.

Она кусает себя за щеку до крови, чтобы как-то объяснить слезы, выступившие на глазах чуть раньше.

Ночью приходит Змей, но не пытается ничего сказать или приблизиться – просто стоит и смотрит, и Сара каким-то образом сквозь мутный покров *ощущает* его улыбку, острую, словно нож. Помедлив, птица распахивает крылья, и Змей исчезает. Приходит новое видение: Сара идет по узеньким улицам совершенно незнакомого города под тусклым северным небом и повсюду видит измученных, оборванных людей, которые, кажется, ночуют на улице. На остатках их одежды виднеются нашивки с каким-то символом желтого цвета, но Сара почему-то не может как следует рассмотреть его форму. Она проходит через несколько домов, заглядывая во все двери подряд, и везде видит одно и то же: в помещениях размером чуть побольше ее комнатки обитает в пять, в десять раз больше людей, чем следовало бы. Все они заняты какими-то делами и, невзирая на скорбные изможденные лица, явно не находят происходящее странным. В отличие от Сары – это видение кажется ей еще более бессмысленным и загадочным, чем предыдущие. Почему эти люди живут – и это даже трудно назвать жизнью – в подобной тесноте? Ведь это же обычный город, а не какая-нибудь тюрьма...

В памяти вертится какое-то слово, древнее слово, горькое слово.

Сара не может его вспомнить и погружается в сон, не приносящий отдыха.

В пятницу после занятий она помогает Фейге с домашними делами, ходит с тетей на базар, в булочную и к мяснику. Потом Фейга решает заглянуть в аптеку Бабича и купить какой-то новый французский порошок от мигрени; Сара остается снаружи, ждет. На стекле витрины нарисована эмблема: змея – или Змей? – и чаша. Сосуд Гигеи. Пресмыкающееся с тихим шипением поднимает голову над краем, высовывает трепещущий язык, смотрит на Сару, явно смотрит, пусть и остается плоским. Она сглатывает, закрывает глаза, но продолжает слы-

У него темно-серая кожа, местами отливающая синевой, местами – зеленью; рисунок чешуи просматривается там, где она натянута туже всего. Скулы широкие и острые, рубиновые глаза утопают в озерах черноты, что простираются до выступающих надбровных дух. Вместо носа – две вертикальные щели, и над ними, посреди лба, сияет третий глаз; впрочем, может быть, это подлинный рубин, каким-то образом прикрепленный к коже.

шать шипение, которое постепенно заглушает все прочие звуки.

Шшшшш…

Во тьме перед ее внутренним взором проносятся образы, старые и новые: люди-скелеты, трубы, из которых валит мерзкий дым, прилично одетые мужчины и женщины с кожей цвета дыма и черными глазами. Они открывают рты, но раздается все то же шипение.

Шшшшш…

Потом кто-то трясет Сару за плечи, воздух обретает едкий запах нашатыря, и она с трудом разлепляет веки. Ее ждет сюрприз: она не возле аптеки Бабича. Она дома, лежит на отцовском диване, одетая; вокруг полным-полно людей с встревоженными лицами – бледный как полотно отец, неузнаваемая то ли от беспокойства, то ли от ярости Фейга, какие-то чужие мужчины, Рахиль Коган и Ита… Что случилось? Она упала в обморок на улице. Ее принес один из чужаков, стекольщик Гриншпун, который как раз шел мимо и увидел, что одной барышне плохо, а другая – то есть Фейга – не может ее поднять.

Второй чужак – мужчина лет пятидесяти, с круглым, очень спокойным лицом. Он как раз кладет в свой черный саквояж склянку, которую только что подносил к лицу Сары, и что-то говорит про переутомление. Фейга непривычно высоким голосом и почти без пауз обещает позаботиться о том, чтобы ее племянница как следует отдохнула на следующей неделе, раз уж все равно праздник, а Герш кивает. Вот уж кто точно переутомился, вот уж кто будет трудиться до последнего, а потом упадет, только не без чувств, а замертво, но об этом сейчас не говорят. Сейчас говорят только о Саре, и от царящей вокруг какофонии она внезапно начинает горько плакать, зажав уши ладонями.

Доктор пытается ее успокоить, и Фейга пытается ее успокоить, и отец. Ну что же ты плачешь, фейгеле? Все хорошо, мы с тобой, и Моисей Борисович с тобой, и даже Мордко, и Рахиль с Итой, видишь?..

Ты об этом пожалеешь.

Она засыпает в слезах.

Приходит Змей.

Поначалу кажется, что ничего не изменилось, что он стоит на прежнем месте и выглядит так же, как и в прошлый раз, но… Тряхнув плечами, он сбрасывает бесформенную хламиду и оказывается одетым во фрак, словно собрался в оперу. Из рукавов с белоснежными манжетами высовываются чешуйчатые шестипалые руки с перепонками между пальцами, с длинными когтями. Туманное облако, до сих пор скрывавшее его лицо, рассеивается, и Сара наконец-то видит Змея целиком.

У него темно-серая кожа, местами отливающая синевой, местами – зеленью; рисунок чешуи просматривается там, где она натянута туже всего. Скулы широкие и острые, рубиновые глаза утопают в озерах черноты, что простираются до выступающих надбровных дух. Вместо носа – две вертикальные щели, и над ними, посреди лба, сияет третий глаз; впрочем, может быть, это подлинный рубин, каким-то образом прикрепленный к коже. Рот безгубый, почти незаметный, когда закрыт; подбородок остренький, слабый. Лицо – или все-таки морда? – имеет отчетливо треугольную форму.

– Тебе придется принять решение. – Змей делает шаг вперед и мгновенно увеличивается в росте в полтора раза; по самым скромным прикидкам, еще на полпути к черной кровати он сделается настоящим великаном, а когда доберется до

нее – сможет раздавить Сару одним пальцем. – Я не приму отказа. Знаешь, что бывает, когда мне отказывают?

Он щелкает пальцами, и те самые тени во тьме, что прячутся в дальних углах зала, на секунду становятся видимыми. Сара видит: прикованные к стенам полуразложившиеся трупы, чьи кости прорастают сквозь плоть черными шипами; вплавленную в камень верхнюю половину тела, чьи плечи, по которым рассыпались густые волосы, еще подрагивают от судорог; другие тела – пронзенные насквозь, повешенные за волосы, за руки, за ноги, сросшиеся с машинами, предназначенными для пыток, привязанные к столам, над которыми склоняются безликие фигуры в хирургических халатах. Пустой желудок скручивается в болезненный узел от приступа сухой рвоты; рот наполняется желчью.

– Ты поняла?

Да, она поняла.

Змей кивает и исчезает; встреча завершается.

Лишь в последний миг перед истинным пробуждением Сара понимает, что на этот раз с ней не было птицы.

* * *

Ты идешь дальше, обозревая город, покрытый кровоточащими ранами, и видишь все новые картины, одну за другой.

Вот госпожа Кенигшац встает на пути погромщиков, встает в дверном проеме, раскинув руки, и смотрит на них поверх очков, как на нерадивых учеников.

Вот чей-то дом с иконами в окнах – их немало, таких домов, затаивших дыхание, – но людей в нем набилось явно больше, чем могло бы жить, и часть из них безмолвно, сосредоточенно вооружается чем попало. Они начинают понимать, что символы помогают не всегда.

Вот еще один, без икон – невысокий, крытый черепицей, по соседству с небольшой площадью, чуть выдающийся в нее, словно мыс на побережье, – и таким ужасом веет от него, что ты отворачиваешься, закрываешь глаза.

«Ита, Ита! – кричит Рахиль Коган. Звенит разбитое стекло, крик переходит в рыдания. – Ита-а-а…»

Ты идешь дальше.

* * *

Фейга высыпает купленный в аптеке Бабича порошок в чашку с теплой водой, запавшими глазами смотрит, как он медленно растворяется, а потом выпивает одним глотком, запрокинув голову. Сара внезапно замечает, что тетя выглядит очень бледной и не столько уставшей, сколько больной.

От расспросов никакого толка: Фейга лишь отмахивается и заявляет, что к праздничному ужину, седеру, они будут готовиться вместе, поскольку времени осталось совсем мало, а она не успела купить и сделать все необходимое. Девочка с радостью соглашается, и череда простых домашних дел творит чудо: на какое-то время она полностью забывает про Змея и ужасы, которые он ей показывал в своем черном дворце. Фейга не дает ей об этом вспомнить, постоянно отвлекая то поручениями, то рассказами о предстоящем празднике, полном глубокого символизма. Они аккуратно моют хрустальные бокалы, и Фейга, обнаружив в одном трещину, хмурится и достает еще один, запасной. Во время седера хрусталь наполнится вином цвета крови, думает Сара и вздрагивает, вспомнив убитого мальчика из Дубоссар. Хоть евреи и оказались ни при чем, эта история не так проста, как кажется, – и, наверное, она еще не закончилась.

– Помнишь, что такое харосет? – спрашивает Фейга, словно заметив, что по лицу племянницы пробежала тень. – А что означают марор и хазерет?

Сара начинает рассказывать, в кои-то веки не возражая против того, чтобы своеобразный экзамен тянулся, тянулся… да хоть много часов. Или дней. Они достают еще один предмет, который используется в доме один раз в год: тяжелую серебряную кеару с начертанными на древнем языке словами. Сара ведет пальцем по угловатым буквам справа налево и внезапно начинает толковать их на свой лад: вот они, обмазанные *глиной* ветхие дома за Старым рынком, в самой бедной части города; вот она, пыль кишиневских улиц, *горькая* от проглоченных слез смесь свободы и несвободы; вот он, разрушенный *храм* долгой и спокойной жизни на одном месте, ведь кровь все-таки пролилась… Нет, какой-то странный и неправильный смысл получается. Чтобы скрыть смятение, она задает тетушке первый вопрос, какой приходит в голову.

– Куда бы ты хотела отсюда уехать?

Фейга кладет кеару на стол, аккуратно вытирает, словно не слыша, о чем ее спрашивает племянница. Потом замирает с тряпкой в руках – движутся только ее тяжелые веки, обрамленные длинными ресницами. Она еще такая молодая, думает Сара. Что ее держит здесь, с нами?

Она почему-то не сомневается: Фейга могла бы в любой момент уйти, улететь.

Не открывая глаза, не отнимая рук от краев тяжелой кеары, Фейга начинает говорить. Тихим, надтреснутым голосом, словно во сне. Сара, втайне ожидавшая услышать нечто похожее на отцовские мечты, которыми он время от времени делится – Вена, Париж, Сан-Франциско, – ошеломленно понимает, что ей рассказывают о пустыне. О бескрайнем просторе под бездонным небом, полным таких звезд, какие нигде больше не увидишь; о песчаном океане, вторящем океану соленой воды; о тысяче оттенков песка – «Ты думала, он желтый? Вовсе нет!..» – и зеленых жемчужинах; о тайных колодцах, дышащих влагой и вечностью.

– Но… почему?

Фейга улыбается краем рта.

– На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его… Впрочем, нет, дело не в этом. – Чуть помедлив, она договаривает: – Может, там меня простят и совершат для меня чудо.

Седер и первые дни Песаха проходят в спокойной, умиротворенной обстановке, как и положено празднику. Змей по ночам не приходит – может, потому, что Сара и Фейга болтают допоздна о разной ерунде, а потом засыпают в обнимку. Ненадолго Сара даже поддается шальной надежде, что каким-то образом существо навсегда покинуло ее сны, ее жизнь, и можно больше не бояться.

Но потом они с Фейгой снова идут на рынок, и кое-что происходит.

На Новом рынке торгуют в основном евреи – так уж повелось. Местные жители из окрестных сел предпочитают приезжать на Старый базар, расположенный подальше, и Сара с Фейгой туда не ходят; здесь, среди знакомых лиц и знакомой речи, им спокойнее, потому что на рынке всегда надо быть начеку. Поначалу Сара опасливо озирается – не объявятся ли змеи? – но аптек в торговых рядах нет, и настойки из ползучих гадов здесь не продают. Они вдвоем идут все дальше, Фейга высматривает нужных торговцев, и внезапно из лавки мясника вылетают сразу трое мужчин, из которых один, судя по фартуку и нарукавникам, и есть хозяин; сцепившись, они падают прямо под ноги прохожим и начинают друг друга мутузить, вопя скверные слова. Точнее, как внезапно понимает Сара, двое бьют одного.

– Мойше! Мойше! – кричит женщина, выбегая следом за троицей дерущихся, а потом начинает звать городового, который должен дежурить где-то рядом.

Это оказывает должное воздействие на тех двоих, которые напали на хозяина; они встают – мясник остается лежать, держась за челюсть, его подбитый глаз заплывает с поразительной быстротой, – и спешно удирают прочь, придерживая картузы.

Но напоследок один из них оборачивается и свистящим шепотом бросает в собравшихся зевак короткую фразу:

– Царь приказал: на Пасху бить жидов!

Как будто набежавшая туча закрывает мартовское солнце. Толпа шумит, волнуется, прибежавший городовой стоит, уперев руки в бока, над мясником и его женой: упав на колени прямо рядом со сточной канавой, та пытается краем фартука стереть кровь с лица пострадавшего. Сара стоит, точно обернувшись соляным столбом, и когда кто-то трогает ее за руку, она не сразу вспоминает, что пришла на рынок не одна. Фейга что-то говорит, но ее слова превращаются в шшшшшш…

У драчуна в картузе вместо лица – змеиная морда. Правда, всего с двумя глазами.

Фейга явно ничего такого не видела, да и остальные очевидцы ведут себя так, как и положено людям, узревшим драку, а не что-то сверхъестественное. Решив, что племянница просто шокирована случившимся, Фейга уводит ее прочь, ласково гладит по руке и по плечу, продолжает что-то говорить, и постепенно к Саре возвращается дар речи и понимания чужих речей. Собрав остатки сил, она притворяется, что пришла в себя; кое-как закончив с покупками, они возвращаются домой без приключений и решают ничего не рассказывать Гершу, который вновь занялся заказом доамны Шерпеску: из ателье доносятся все те же странные звуки, постукивание и скрежет, что бы они ни значили. За ужином все трое молчат.

А на следующий день – в среду – они узнают от Рахиль Коган, как всегда болтливой, но непривычно бледной, – что подобные случаи происходили вчера по всему городу, да и продолжают происходить. Мелкие стычки: расквашенные носы и выбитые зубы, испорченная одежда, обидные слова, сорванные вывески и мерзкие листовки. И вещи посерьезнее: разбитые витрины, украденный товар, сломанные ребра…

«Лавочники на Новом базаре хотят дружину организовать, – сообщает Рахиль. – Потому что все это не к добру… а от городовых, как всегда, толку никакого».

Четыре дня город постепенно закипает, словно варево на медленном огне, и к утру воскресенья – в последний день Песаха и первый день Пасхи – грозное бульканье под крышкой не слышит только глухой. Все та же Рахиль Коган сообщает

Саре: на Чуфлинской, где карусели, подрались уже всерьез, а все из-за того, что какой-то гой пожелал прокатиться бесплатно; или, может быть, причина была другая – сейчас уже трудно понять. Разозленная толпа рванула на Новый базар, где ее встретили лавочники с оружием, но тут подоспели полицейские и как-то умудрились уладить дело словами, пообещав базарным старшинам, что не допустят погромов. При этом зачинщиков беспорядка на Чуфлинской площади никто даже не попытался арестовать.

Рахиль просит Сару сидеть дома, а потом они смотрят друг на друга и думают об одном: где же Фейга? Куда она ушла еще рано утром, почему ее до сих пор нет?

Часы текут с мучительной неторопливостью, и в какой-то момент Сара больше не может сидеть в своей комнате; она собирается и выходит. Солнце уже клонится к закату, и кажется, что над городом повисла непривычная, удушливая тишина – словно сейчас не начало апреля, а самый разгар июльской жары, когда даже воробьям не хватает сил чирикать. Однако прорвавшийся сквозь эту тишину посторонний звук вынуждает ее остановиться у ворот, так и не сделав последний решительный шаг на улицу. Она замирает, потом прячется за створку.

Они приближаются.

Сквозь щель в воротах их плохо видно, но Сара не решается даже вздохнуть, чтобы не обнаружить себя. Их не меньше десяти, только мужчины; половина вооружена чем попало – дубинками, отломанными ножками столов и стульев, у одного блестит в руке нож. Судя по одежде, это чернорабочие – те, кто живет на окраине в хибарах или приезжает из окрестных сел, чтобы трудиться на складах, в магазинах и фабриках – везде, где можно заработать копейку, будучи наделенным лишь физической силой. Ну а лица…

Лица, как и у того драчуна на Новом базаре, змеиные.

Они проходят мимо. Сара еще некоторое время стоит, прижимаясь к забору, и по ее щекам текут слезы. Потом она плетется обратно домой, еле переставляя ноги, и когда выясняется, что в квартире ничего не изменилось – Герш даже не заметил, что дочь куда-то уходила, – ее охватывают противоречивые эмоции. Да и остальные жители наверняка видели, что она попыталась сделать, но предпочли отсиживаться в своих норах. На ум идут неприличные слова, но это все от бессилия. Так она мучается до наступления темноты, когда к воротам подъезжает извозчик, слезает с облучка и вместе с одним из пассажиров пролетки тащит на второй этаж другого – точнее, другую.

Тут уж переполох наступает во всем доме, и вездесущая Рахиль выскакивает, чтобы помочь. Фейга бледна как полотно, на лбу у нее повязка, под глазом синяк; правой рукой она то и дело трогает лицо, а левой прижимает к груди сумочку, словно это самое дорогое, что у нее есть. Пассажир пролетки – тут Сара его узнает, это опять доктор Слуцкий, который приехал к ним в тот раз, когда она потеряла сознание возле аптеки, – заводит Фейгу к ним, усаживает в кресло, и шум наконец-то вынуждает Герша Белицкого покинуть ателье. Глядя на отца, чье лицо выражает безграничную растерянность и страх, Сара страшно на него злится, но ни о чем не говорит.

– С ней все будет хорошо, – говорит Слуцкий, видя, что его ни о чем не спрашивают. – Случайно угодила под горячую руку одному… нехорошему человеку. Это просто порез, больничный уход не понадобится. Вы тут как?..
– Все в порядке, – тихо отвечает Сара, когда Герш бросается к сестре.

Слуцкий кивает.

– Будьте осторожны. Мне сегодня в окно кабинета камнем бросили. Я думал, случайно… до последнего пытался сам себя обмануть. Плохи дела. Будем надеяться, обойдется без большой крови.

И он уходит. Сара и Герш укладывают Фейгу в постель, потом девочка отправляется готовить ей чай, потому что хочет хоть как-то помочь, принести хоть какую-то пользу. Когда она возвращается с дымящейся ароматной чашкой на подносе, то еще за дверью слышит, как переговариваются брат с сестрой. Тихий голос Фейги произносит какие-то незнакомые имена: *«Фон Раабен… Левендаль… Устругов – ты же знаешь сам, кем он нас считает… надо что-то делать, Герш»*. Отец что-то отвечает, но говорит еще тише, чем тетушка, и слов не разобрать.

Из ателье доносится какой-то звук.

Медленно опустив поднос на пол, она зажмуривает глаза и говорит себе: это не могут быть змеи, точнее – погромщики с лицами змей. Они бы не сумели забраться на второй этаж так, чтобы никто в доме не услышал, – да и звук на самом деле ей знаком, то самое постукивание, которое она уже много раз слышала на протяжении минувших дней. Это *другая* загадка, и она бы несомненно тревожила Сару куда сильнее, не случись трехглазого гостя с его ночными визитами.

Она понимает, что должна с этой загадкой разобраться.

Сейчас или никогда.

Медленно, очень медленно Сара подходит к двери ателье, которую Герш оставил слегка приоткрытой – наверное, потому звуки и долетели до ее ушей, – и, затаив дыхание, переступает порог. Поначалу она даже не понимает, что именно видит. При свете единственной тусклой лампы с трудом различима плоская конструкция из досок, лежащая на рабочем столе; по углам она стянута винтами, а центр… в центре как будто ткань, тот самый шелк, присланный Шерпеску – он поблескивает, словно металлический, и хоть выглядит по-прежнему гладким, кое-что в нем изменилось. Он собран в мельчайшие складки, которые деревянными колотушками прилежно обрабатывают чьи-то руки с длинными, когтистыми и перепончатыми пальцами.

Сара поднимает глаза и встречается взглядом с нагой старухой из сна, у которой вместо ног гусиные лапы.

Старуха смотрит на нее и скалит длинные гнилые зубы, сплошь клыки; странное дело, во сне она выглядела плотной и осязаемой, живой, а теперь кажется зыбкой, сотканной из огня и ветра, но колотушку в лапе держит крепко. Что-то шевелится на краю зрения, сразу справа и слева, и Сара, лихорадочно завертев головой, понимает две вещи.

Во-первых, еще две старухи, точь-в-точь похожие на первую, прячутся за шкафом в углу комнаты – выглядывают оттуда, словно две мыши, наблюдающие за кошкой из укрытия, которое считают надежным. Невзирая на внешнее сходство, одна из них заметно меньше ростом и почему-то кажется… ребенком? Нет, скорее *детенышем*.

Во-вторых, отцовский манекен отрастил длинные руки из ивовых прутьев, с локтевыми суставами и довольно изящными кистями, которые трогают шелк; а вот шифоновый лоскут с его груди исчез – теперь сквозь бесформенное пятно на ткани отчетливо просматривается слово, записанное древним алфавитом, но незнакомое Саре. Манекен ведет себя как живой, и по положению ивовых рук, по осанке легко читаются высокомерное презрение и гнев: *как ты посмела войти без стука?*

Он чем-то похож на госпожу Кенигшац.

* * *

Не покидая пределов города, ты переходишь в иную реальность. Здесь так же пахнет акацией, но не идет снег из распотрошенных перин и подушек, нет бурых луж с осколками стекла, кусками досок и кирпичей; здесь тихо и спокойно, хотя нетрудно ощутить, как эту тишину пронзают острые иглы взглядов из каждого окна. Здесь безлюдно, хотя время от времени на отдаленных перекрестках ты видишь людей в мундирах, но расстояние слишком большое, чтобы разглядеть, лица у них или змеиные морды.

Ты всегда знала, что у Кишинева два лица – но, кажется, второе из них увидела впервые.

Ты останавливаешься перед домом, которого раньше никогда не видела, и не потому, что не бывала в этой части города; у тебя нет сомнений, что подобного строения в нем вовсе не существовало до сегодняшнего… дня? Справа от тебя по синему небу бегут облака, слева ночную тьму проткнули сотни сверкающих булавок, но это все мелочи, мелочи, потому что дом перед тобой – Дом! – становится все выше, стены его блистают золотом, на колоннах проступают алмазные узоры, и трепещут на нездешнем ветру знамена на башнях. Ты замираешь в нерешительности, ожидая, что кто-то выйдет навстречу, но хозяин дворца уже рядом – позади тебя.

– Они тебя предали, – мягко говорит он, ласковым жестом положив руку тебе на плечо. Три его глаза сияют алым. – Они всю жизнь тебе лгали. Хочешь узнать правду?

Ты киваешь, хотя правда о прошлом не имеет значения, куда важнее правда о настоящем, а она заключается в том, что Змей и прочее тебе не померещились. А раз дело не только в твоих снах, раз существует некое всеобъемлющее, изначальное, древнее Зло, то оно может причинить боль кому угодно. И Гершу. И Фейге. И Рахили Коган… хотя для Иты, наверное, уже поздно.

Ты это поняла в тот момент, когда смотрела на уродливых голых *шедим* с птичьими лапами, на безголовый, но живой манекен; все они *помогали* твоему отцу сшить платье для доамны Шерпеску. Шерпеску… ну да, конечно, как же ты раньше этого не заметила! Госпожа Змеева, так ее зовут.

Змеюка.

Змеоайка.

Змей что-то рассказывает про эпидемию холеры, которую вызвали двое, брат и сестра, сами того не желая: играли не с теми силами, читали не те книги. Они пытались справиться с заразой, но всегда проще выпустить зло на свободу, чем загнать его обратно во тьму внешнюю. Они понесли потери и были изгнаны из семьи, однако запретные знания унесли с собой.

– Идем со мной, – говорит Змей, и рука его, поднявшись выше, гладит твою шею. – Тебе нет места в этом городе, в этом мире. Только я знаю,

как воздать тебе должное – только я сумею тебя любить…

И ты идешь с ним.

Ты переступаешь через порог, и внутри дворец еще великолепнее, чем снаружи. Но, идя по коридорам с колоннами, через залы со сводчатыми потолками, на которых сияют разноцветьем живые фрески с изображением немыслимых существ, сквозь внутренние дворы с фонтанами и певчими птицами, где, посмотрев вверх, можно увидеть небеса совсем иного мира, ты никак не можешь отделаться от мысли, что Змей утаил от тебя нечто важное.

В конце концов вы оказываетесь в той комнате, что тебе хорошо знакома. Черная кровать, как и прежде, стоит посреди пустого зала, чьи стены теперь не окутаны тьмой, – теперь ты видишь огромные витражные окна, и за разноцветным стеклом – какое-то смутное движение. Витражи изображают пейзажи удивительной красоты: леса и горы, морской берег, пустыня… Змей подталкивает тебя к кровати, ты идешь, потому что выбора нет.

И в шаге от нее тебя настигает одно из видений: бараки из красного кирпича, дымящая труба поодаль, а потом, без перехода, – огороженное колючим забором зимнее поле, по которому бродят скелеты в полосатых робах.

Ты вздрагиваешь, смотришь на Змея, впервые открываешь рот:

– Что это было?

По его чешуйчатому лицу невозможно прочитать эмоции, и три красных глаза глядят по-прежнему пристально, когда он после секундной заминки переспрашивает:

– О чем ты?

* * *

Когда Сара осознает свою ошибку, вокруг нее и внутри нее что-то меняется.

Она думала – она не сомневалась! – что видения насылает Змей. Что все эти непонятные, но очень страшные образы – его рук дело, его наказание за то, что она не пошла с ним сразу же и к тому же смеялась над его предложением руки и сердца. Она думала, что все прекратится, если признать свое поражение.

Но он о них *ничего не знает*.

Что же ей теперь делать?..

А дальше все происходит так быстро, что она не успевает осознать новую перемену. Двери в дальней части зала распахиваются настежь, и влетает птица – тот самый то ли сокол, то ли ястреб, который много ночей подряд берег Сару от Змея. Тяжело взмахивая крыльями, он за считаные секунды пересекает огромное помещение, падает на пол перед Змеем и как будто взрывается – перья летят во все стороны, покидая тугой клубок серо-коричневого тумана, посреди которого внезапно появляется Фейга.

Лицо у тетушки все еще бледное от потери крови, повязку она где-то потеряла, и на виске виден глубокий запекшийся порез с воспаленными краями. Плотно сжав губы, она быстрым и решительным жестом сует руку в сумочку, с которой никогда не расстается, и вытаскивает маленький черный револьвер.

Стреляет в Змея в упор.

От оглушительного грохота выстрелов Сара кричит и зажимает уши ладонями. На миг она даже зажмуривается и упускает тот момент, когда в зале появляется Змеоайка. Доамна Шерпеску от шеи вниз выглядит столь же элегантной госпожой, как и в те разы, когда посещала ателье Герша Белицкого, а вот выше… Саре кажется, что левым глазом она видит человеческое лицо, правым – змеиную морду; а на самом деле мать Змея выглядит так, что человеческим зрением ее и вовсе невозможно воспринять. За такое зрелище надо платить, разумом или жизнью.

Змеоайка вскидывает руку, и сильнейшим порывом ветра Фейгу бросает на один из витражей – тот, что изображает пустыню. Он разбивается, и Сара не успевает даже вскрикнуть, как ее тетушка исчезает в бурлящем ничто за окном.

И все же…

Все же…

Сара кричит.

– Нет! – вопит она что есть мочи. – Нет!

– Поздно, пуйка мя… или фейгеле, если тебе так привычнее, – говорит Змеоайка. Змей встает и отряхивается, качая головой; дыры на его фраке зарастают сами по себе. – Я могу говорить с тобой на том языке, на каком захочешь, потому что ваши человечьи страны и народы – лишь пыль и прах для таких, как мы. Впрочем, если тебе интересно, с твоими предками я и мой сын впервые повстречались еще в Вавилоне. А теперь…

– Теперь, – раздается тихий голос со стороны все еще распахнутых дверей, – позвольте вручить вам заказ, доамна Шерпеску.

Все трое оборачиваются; кажется, Сара единственная, кого изумляет появление Герша Белицкого. Он стоит, держа под мышкой шляпную картонку, очень бледный, но все-таки спокойный, учитывая все обстоятельства. Сара смотрит на отца и чув-

ствует, как по щекам текут слезы. Она уже не знает, чего ждать.

Змеоайка принимает изысканную позу.

– Уверены, что справились, домнуле Белицки? – Из ее человеческого рта высовывается раздвоенный язык, трепещет перед лицом. – Не надо сейчас меня злить – а попытавшись всучить не то, что требуется, вы именно это и сделаете.

Вместо ответа Герш идет к ней, протягивая картонку. Змеоайка молча ее принимает, открывает, и ее глаза – человечьи и змеиные сразу – широко распахиваются. Она достает нечто текучее, как покрытая рябью стремительная вода, зеленовато-сине-серое, расшитое по краям бусинами, которые блестят в полумраке, словно маленькие звезды.

Без малейшего смущения Змеоайка раздевается – ее одежда просто осыпается трухой, словно старая краска с ворот, – а потом, приложив новое платье к себе, *вливается* в него. Сара успевает заметить, что левым глазом она видит красивое женское тело, а правым… нечто среднее между трупом древней старухи, вздувшимся телом мертвой змеи и черной корягой, пролежавшей в болоте достаточно долго, чтобы покрыться слизью и мхом. Но в наряде, сшитом ее отцом, Змеоайка внезапно делается единой и плотной, а еще стремительно молодеет – теперь с виду она почти ровесница Сары.

Змей одобрительно кивает и манерно хлопает в ладоши.

Платье простейшего, совершенно прямого кроя, без рукавов, сшито из шелка, спрессованного в мелкие складки, благодаря чему от движений оно растягивается, а потом вновь принимает прежнюю форму. S-линия просматривается от плеча к талии так отчетливо, что у Сары на глазах выступают слезы. Ее отец сотворил красоту.

Красоту, чья суть – зло.

– Этот шелк – моя кожа, – говорит Змеоайка, любовно ведя ладонью по ткани. – Теперь та сила, которой я наделена в своем основном облике, будет со мной всегда. Сколько я вам должна, Герш? Вы справились, поэтому можете не скромничать.
– Я и не собираюсь, – тихо отвечает еврейский портной, щуплый и носатый, совершенно некрасивый мужчина, постаревший раньше времени, и впервые смотрит на свою дочь. – Только мы не договорились о деньгах. Вы сказали, что я смогу всего лишь озвучить свое желание, и оно воплотится в жизнь. Отпустите мою дочь.

Все снова меняется в мгновение ока. Саре кажется, что она опять стоит на краю той лужи, где впервые увидела *тьму внешнюю*, и тугие витки змеиного тела движутся прямо у нее под ногами. Рядом раздается шипение, но она не в силах посмотреть на Змея – боится, что поплатится за это рассудком.

– Вы уверены в этом, Герш? – спокойно спрашивает Змеоайка.
– Да.
– Просто… – Она делает шаг вперед, и Сара, оставаясь на краю ямы-лужи, каким-то образом это видит. – Я же не только это сказала.

Она протягивает руку, словно для рукопожатия, и отец, все такой же бледный и решительный, немедленно отвечает тем же.

А потом…

…А потом ты открываешь глаза во дворе еврейской больницы, и вокруг царит чудовищный бардак: кто-то рыдает от горя, кто-то от боли, кто-то бегает туда-сюда в поисках родных и близких, а кто-то их уже нашел, но не может узнать. Доктор Слуцкий в сопровождении помощников бежит из одного отделения в другое, не замечая тебя; глаза у него воспаленные от усталости и как будто заплаканные.

Ты пытаешься себе внушить, что хруст костей тебе померещился, как и все остальное – Фейга, улетающая прочь, отблески пламени на желтоватых клыках и смутное ощущение чего-то непоправимого, жуткого, кровавого.

Ты закрываешь глаза.

Всегда проще выпустить зло на свободу, чем загнать его обратно во тьму внешнюю.

Что теперь сотворит Змеоайка в немыслимо прекрасном платье, умножающем ее силу?..

Не замечая ничего вокруг, ты опускаешься на колени прямо в грязь и – сама не понимая, у кого, – просишь, просишь, просишь прощения…

ПТИЦЫ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДАХ

ПОВЕСТЬ

ДМИТРИЙ БОЛОТНИКОВ
Публицист, историк. Родился в 1975 году в городе Александрове Владимирской области. Работал строителем, электриком, курьером, был корреспондентом издательского дома «Коммерсант».

Окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. Участвовал в этнографических и археологических экспедициях в России и Европе. Живет в Москве.

Алексей впервые увидел сорок рано утром. Его разбудил хлопок двери вагонного туалета, заставив невольно выглянуть в окно, а птицы уже порхали в перелеске. Минут через двадцать, когда командированный сел пить чай, сороки снова промелькнули между деревцами. И спустя два часа крылатые непоседы все так же взмывали в воздух, садились на ветви и провода, тревожа отдыхавших по соседству пернатых товарок. Иногда Лехе казалось, что одна и та же птица летит вдоль линий электропередач наперегонки с поездом.

Картинка за стеклом не поменялась и к вечеру. Бесконечный горизонт полей – ровных, словно бильярдный стол, с ворсом стриженого жнивья и редкими оазисами-рощицами. Есть ли в командировке что-нибудь более унылое, чем вид Западно-Сибирской равнины из окна вагона? Каждому, кто хоть раз отправлялся поездом через страну, знакомы эти два дня, два совершенно невыносимых дня между Красноярском и Уралом с замершими просторами и редкими полустанками. И только сороки немного разбавляли почти безжизненный пейзаж.

– Тоже сорок любите? – неожиданно нарушил тишину сосед, читавший книгу на верхней полке.
– Да так, – пожал плечами Леха, продолжая глазеть на черно-белую жизнь за окном. – Смешные птицы.
– Смешные, – улыбнулся попутчик. – Бывает, уставлюсь на них, так и гляжу битый час. Не надоедает почему-то.
– Хоть что-то там трепыхается, – согласился Леша.

Дверь распахнулась, и в купе вплыл Григорий Иванович. Его лысина блестела мелкой испариной.

– Ох, говорил же: надо было самолетом лететь, – засопел дядя Гриша, вытирая макушку платком. – Это вам, молодым, легко, а у меня возраст, ревматизм. Бессонница!

Но Леха готов был простить коллеге любое ворчание. Что бы он делал без Иваныча? Продукция родного комбината вызвала на выставке настоящий ажиотаж – ткани из поливинилхлорида с напылением, изготовленные на новых японских станках, наконец-то привлекли серьезных заказчиков. Пока Леха представлял образцы на стенде, дядя Гриша терпеливо окучивал потенциальных партнеров, обзаводился десятками необходимых контактов. Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Челябинск – география наклевывающихся контрактов впечатляла.

– Теперь заживем! – смеялся Иваныч в ресторане, потрясая вилкой с ломтиком копченого омуля. – Все заводы тонут, а мы на гребне волны. На самом верху, Лешенька! Забудь ты старую жизнь – все эти нищенские бартеры, сезонные заказы и прочую худерьбу из-под ногтей. Впереди настоящие

деньги, Лешка! И поверь мне: совсем скоро они потекут рекой!

От слов дяди Гриши у Алексея на сердце что-то съежилось, будто береста, которую швырнули в костер. Он не любил, когда Иваныч говорил про деньги. Такие разговоры ласкали слух беспечным вечерним солнышком, но Леша чувствовал, что это солнце заходит в сизые тучи, не предвещая доброй погоды. Даже нерастраченный НЗ в потайном кармане пиджака не согревал. Леха привык брать в дальние поездки деньги про запас. Брал много – на всякий случай. И всегда вспоминал бабушку, старательно заворачивавшую в тряпочку часть пенсии на черный день.

Так же поступала и мать. Леша закрыл глаза и на секунду представил маму в день получки. Вот она стоит у серванта, открывает створку, вот прячет куцые красноватые купюры в стопку старых писем от отца…

Это воспоминание создало в Лехиной голове странный вакуум, похожий на тот, что возникает на свадьбе вокруг бедного родственника. Всего три дня назад они сидели в провинциальной ресторации, на улице грохотали громовые раскаты и падали первые крупные капли, а пьяненький дядя Гриша все рассуждал о неизбежных светлых перспективах. Его слова царапали, обжигали, отскакивая от столовых приборов в наэлектризованном воздухе острыми молекулами озона, но не приносили долгожданной прохлады. Вот и сейчас далеко на западе небо снова набухло темно-синим.

Алексей отдернул занавеску – по пальцам едва слышно щелкнул разряд статического электричества.

– Иваныч, только не начинай старую песню, – взмолился Леха. – Едем домой – и слава богу.
– Ладно, потерпим. Вспомним, так сказать, юные годы. – Григорий Иванович откупорил бутылку коньяка. – Ну, тогда еще раз – за наш с тобой успех!

Сосед на верхней полке вздохнул и отвернулся к стенке.

Гномон солнечного зайчика дрожал, застыл какое-то время на стене, затем скользнул по двери купе. Леша любил следить за случайным путешествием желтого пятна, менявшего порт приписки при каждом повороте состава. Ему чудилось, что поезд в эти моменты превращается в гигантские солнечные часы, которые несутся между часовыми поясами, отсчитывая неумолимый бег минут и секунд по-своему.

Этот отсчет казался Лехе единственным правильным временем – теплым, как старенькие бабушкины ходики, и не законсервированным в понедельники, среды и пятницы. Оно пахло терпким угаром титана, разогретого к ночи немолодой проводницей, и неуловимым поветрием, с которым пассажиры почему-то хотят поскорее распрощаться, забыть невыносимый прочерк между станциями отправления и назначения. И лишь что-то живое в этой длинной черте пыталось достучаться метрономом колес, семафорило светлячками полустанков и сигарет в тамбуре: «Живи, живи, живи, Леха!»

Поезд пролетел мимо шагающих в вечернюю даль великанов мачт ЛЭП. Алексей заметил, что и там, наверху, тоже сидели сороки, но, в отличие от подруг, стрекотавших в перелеске, никуда не торопились. Миг – и угловатые конструкции исчезли, будто их и не было, а птицы внизу снова соревновались в скорости с локомотивом, словно связные жизни, которую никак не удается поймать за хвост. Но Леха почему-то думал о сороках, что остались на высоковольтных проводах.

А что, если смерть – не конец пути, не черный провал и не тоннель, а перпендикуляр просек с неведомо куда бегущими линиями электропередач? Кто-то поехал по рельсам дальше, а ты – хлоп-хлоп! – внезапно пересел с оси абсцисс на ось ординат, и тебе в глаза немигающим взглядом смотрят смешные птицы. А может, и не птицы вовсе, а гильзы из-под выпущенных впустую минут бестолковой жизни. Они передали по эстафете олимпийский огонь времени, а сейчас выкристаллизовались на проводах, уходящих в никуда. Леха силился припомнить, почему птиц на высоковольтных линиях не бьет током, мысленно открывал учебник физики, но так и не нащупал давно забытого объяснения.

Дверь купе юркнула вбок, и солнечный зайчик на мгновение высветил тонкие выцветшие губы. Усталая женщина с вымученной улыбкой предлагала пассажирам соки-воды, печенье, газеты и журналы. «За рейс сдаешь начальнику поезда десять тысяч, – рассказывала Лехе двоюродная сестра Люда, успевшая поработать проводницей. – Не сдашь – пиши заявление. Вот и берем с девчонками товар на реализацию, иначе выкладывай “десятину” из зарплаты».

– Что-то есть хочется. – Леха зябко поежился.
– Вот те на! – крякнул дядя Гриша и поставил складной стаканчик на стол. – Ты не наелся? Нарезка осталась, вот сыр. Не хочешь? Тогда пошли в вагон-ресторан.
– Да ну его, – скривился Лешка. – В прошлый раз изжога разыгралась. Домашнего бы, картошечки разварной с маслицем. Какая следующая станция?

– Барабинск, – подсказали сверху. – Через полчаса подъезжаем.
– Там и купим чего-нибудь, – приободрил Иваныч.

Состав замедлил ход, и рельсовые линии побежали в стороны, разветвляясь на множество путей.
– Вот и Барабинск, – удовлетворенно потер руки Григорий Иванович. – Сколько стоим, десять минут? Все, пошли!

Коллеги выскочили на перрон. Солнце садилось, последние отблески багровых лучей скользили по сухому асфальту, забавно удлиняя тени спешащих людей. Подножки вагонов сразу атаковали стайки бойких торговок.
– Картошечка с курочкой! Горячая картошечка!
– Беляши, пирожки, чебуреки! Подходим, подходим!
– Пиво, вода… Рыбка, рыбка, рыбка!
– Мужчина, берите курочку!
– Огурчики малосольные, кому огурчики?

Мужики вклинились в ряд торгующих теток.
– Леш, первое попавшееся не бери, – на всякий случай предупредил дядя Гриша. – Сначала походи по перрону.

Алексей прорвался сквозь толпу кричащих женщин и обвел взглядом платформу. Некоторые продавцы, зная, что кто-нибудь из пассажиров обязательно прогуляется вдоль состава, не стремились штурмовать заветные пятачки у вагонов, а терпеливо дожидались своего часа позади толчеи. Командированный прошел к голове поезда, затем направился в хвост и вдруг на краю перрона заметил одинокий скрюченный силуэт.

Бабушка с тележкой на колесиках робко протягивала в сторону состава кулек. Здесь толкалось не так много торговок, но и они заняли у последних вагонов круговую оборону. Осознав полную бесперспективность попыток прорваться, бабка стояла позади конкуренток и лишь иногда оглядывалась в поиске случайного пассажира.
– Леш, ты куда? Поезд отходит через три минуты, – забеспокоился Григорий Иванович.
– Я сейчас! – крикнул Леха и умчался на край перрона.

Бабушка уже убирала непроданный кулек в сумку.
– Бабуль, картошечка горячая?

Женщина приподняла голову, не веря своему счастью.
– Горячая, сынок, – снова достала куль пенсионерка. – Возьмешь, что ли?
– Почему бы и нет? Сколько?
– Пятнадцать.
– Надо же, – удивился Леша. – Везде двадцать просят.
– Никто не берет, – развела руками бабка. – А мне хотя бы за пятнадцать продать. Хочешь, попробуй?

Бабулька распахнула кулек, и в лицо Алексея брызнул запах разварного картофеля, слегка приправленного тмином и щедро посыпанного укропом.
– А курочки нет? – Леша еще раз втянул ноздрями аромат нехитрой снеди.
– Извини, сынок, – бабушка явно смутилась.

Леха достал кошелек. Мелочи как назло не было – среди крупных банкнот лишь топорщился одинокий полтинник.
– Ну и ладно. – Леха протянул бабке синенькую купюру. – Давайте будем считать, что вы не зря приходили к поезду.
– Ой, много! – охнула бабушка. – А у меня и сдачи нет.
– Сдачи не надо, – не принял возражений Алексей. – Картошка у вас отличная.
– Спасибо, сыночек! – поблагодарила бабушка. – Дай Бог тебе здоровья!

Пожилая женщина нагнулась, чтобы убрать деньги в сумку, и тут Леха увидал на ветхой кофточке приличную заплату.
– Лех, куда ты пропал? – послышался вдалеке окрик дяди Гриши. – Поезд отходит!

Алексей и сам толком не понял, зачем это сделал. Рука автоматически нащупала в кармане стопку банкнот.
– Возьмите, – Леша сунул деньги оторопевшей женщине. – Будьте здоровы!

Не дождавшись ответа, он помчался к составу, прижимая к груди кулек с картошкой. Бежал, не оглядываясь – проводница уже отчаянно махала ему рукой:
– Молодой человек, скорее!

Леха едва успел запрыгнуть на подножку вагона и лишь тогда оглянулся. В сгустившихся сумерках в конце перрона еще светлел едва различимый сгорбленный силуэт.
– Проходите, проходите! – недовольно бурчала проводница. – И так чуть не опоздали. Покупки на остановках нужно делать заблаговременно!

Алексей прошел по составу до своего купе.
– Ну, ты и дал кросс, – покачал головой Григорий Иваныч. – Чуть без тебя не уехали.
– Картошка понравилась. – Леха положил кулек на стол.
– А почему с курицей не взял? – подивился дядя Гриша.
– Не было.
– Что же ты будешь есть? Омск еще не скоро.

Их старая бочкообразная стиральная машинка, напоминавшая маленькому Лешке американский космический корабль «Аполлон» из альманаха «Земля и человечество», давно сломалась, но это было даже к лучшему. Леша боялся, что если машинку починят, она снова загудит, заглушая остальные звуки в квартире, и мама больше не будет петь.

– Да и не хочу я курицу, – соврал Леха.
– Может, с тобой поделиться?
– Не надо, дядь Гриш, спасибо.

Григорий Иванович уплетал куриные ножки, а Леха еще несколько минут вдыхал запах теплых рассыпчатых желтых долек.

– Ешь, а то совсем остынет, – похлопал по плечу коллега, и парень наконец-то приступил к трапезе.

Тот аромат, который Алексей вдохнул на перроне, теперь витал в купе и приятно щекотал нос. Такую же картошку он ел в детстве, когда мама еще пела. Ставила варить почищенные клубни и напевала старую песенку про ландыши. Иногда песня откочевывала в ванную, где мать одновременно замачивала белье. Тогда ее звонкий голос летел наперегонки с льющимся ручейком из крана, отражался от белого кафеля, отскакивал от коридорных стен, добирался до детской и замирал в благодарных Лешкиных ушах.

Их старая бочкообразная стиральная машинка, напоминавшая маленькому Лешке американский космический корабль «Аполлон» из альманаха «Земля и человечество», давно сломалась, но это было даже к лучшему. Леша боялся, что если машинку починят, она снова загудит, заглушая остальные звуки в квартире, и мама больше не будет петь. Уступит ноющей какофонии вращающегося барабана, похожего на пропеллер самолета, который никогда не взлетит.

По возвращении из командировки им с дядей Гришей выписали премии. Снова потянулись тягучие недели, расфасованные по рабочим дням, пока однажды Леха не столкнулся в коридоре с запыхавшимся Иванычем.

– Я только что оттуда, – многозначительно ткнул пальцем вверх дядя Гриша. – Как в воду глядел – мы скоро расширяемся! Уже заказаны пробы новой продукции. Так что скоро лететь тебе, сокол, снова куда-нибудь навстречу солнышку.
– А как же ты? – не понял Леха.
– А я – тьфу-тьфу-тьфу! – больше не поеду, – обнажил зубы Иваныч. – Переводят меня.
– Куда?
– Только – тсс! – пока никому, – заговорщицки понизил голос дядя Гриша. – Замом генерального. Правда, бумаги пока не подписаны, но уже все решено.
– Ни фига себе, – присвистнул Леша. – Круто взял, Иваныч! А твой отдел на кого кидают?
– На тебя. – Дядя Гриша понаблюдал за реакцией Лехи, но не выдержал и рассмеялся: – Шутка! На Колпачева, конечно. Но, думаю, и тебя не забудут. И у главного инженера ты на хорошем счету. Я за тебя на всякий случай словечко замолвил.
– Спасибо. А скучать не будешь по командировкам?
– Да вот они у меня где! – Будущий заместитель гендиректора убедительно провел ребром ладони по горлу.
– Зря ты так, Иваныч, – вздохнул Леха.
– Очнись, Леша, – фыркнул дядя Гриша. – Времечко идет. И, между прочим, не только мое. Сколько тебе, тридцать?
– Тридцать два.
– Тем более, – подытожил Иваныч. – Это ты, а не я должен первым чуять свежую кровь и отгрызать первый кусок. Потому что другого может и не подвернуться.

Леха только заснул, как его снова разбудил громкий смех вахтовиков.

– Не успел сесть в вагон, а телефон – «пилик»! – донеслось с нижней полки. – Десяти минут не прошло. И опять – «пилик», «пилик», «пилик»! СМС посыпались одна за другой. Минус девятьсот, минус девятьсот восемьдесят, минус восемьсот двадцать… Е-мое, два притопа, три прихлопа!

И только тогда до меня дошло, что я оставил дома не только жену, но и карточку!

Мужской хохот метнулся в замкнутом секторе плацкарты, бухнулся сабвуфером в Лехин матрас и стих под багажной полкой, где крохотным самописцем скользила одинокая муха. Леша еще пару минут следил за хаотичными передвижениями черной точки по белой поверхности, размышляя, что же двигает этим маленьким курсором, заблудившимся в случайных мирах. И что теперь движет им самим?

Ему снова снился покойный дядя Гриша. Иваныч заходил в купе и протягивал Лехе кусок дымящейся курицы. Потом, нервничая, поглядывал на часы и убегал в конец вагона, прыгал с подножки. А по перрону уже была расстелена красная дорожка к трапу самолета, куда спешил бывший коллега, помахивая на прощание стареньким портфелем.

И лишь однажды дядя Гриша приснился за столом в своем кабинете. Он качал головой и грустно спрашивал: «Леш, зачем ты меня подсидел? Ты ведь и так молодой». Леха бросился доказывать, что все совсем не так, но сразу проснулся. Долго лежал в протопленной бытовке, вспоминая давнишний разговор в столовой комбината.

Он сидел за столиком с начальником отдела сбыта.

– А это что за красавец? – спросил Леша, кивнув на незнакомца с мелированными волосами, которому буфетчица услужливо наливала кофе и укладывала в пакет марципаны.
– Новый заместитель гендиректора, – шепнул Колпачев.
– Погоди, а как же Иваныч? – не понял Леха.
– Ты словно на Камчатке живешь, – ухмыльнулся глава отдела.
– Я же только что из отпуска.
– Иваныча проводили на пенсию, – пояснил Колпачев. – Так уж получилось. Но постарались, чтобы все выглядело достойно. Кстати, главный инженер о тебе спрашивал. Говорил, лучшей кандидатуры все равно не найти. Так что, скорей всего, ты и примешь дела. – Колпачев увидел округлившиеся Лехины глаза и осклабился, сверкнув прокуренными зубами. – Тебе и об этом не рассказали?
– Не рассказали, – растерялся Леха. – А как же ты?
– А меня забирают в главное управление. – Начальник отдела сбыта проводил взглядом типа с ухоженной прической. – Теперь вот с ним работать будем.

В ту секунду ни Колпачев, ни Леха еще не знали, что запланированного расширения производства так и не случится, а предприятие, обескровленное новыми владельцами, очень скоро начнет распродавать японские станки, чтобы погасить хотя бы часть долгов. Потом Леха в отделе кадров получит трудовую книжку и несколько лет будет перебиваться случайными заработками. Теперь же он убивал время в поезде с разношерстной стаей мужиков, вырванных из привычного быта.

Одни не просыхали сутками, кто-то разгадывал кроссворды или травил байки, спасаясь от скуки. Другие вахтовики напоминали Алексею настороженных хорьков. Они никогда не участвовали в вагонных пьянках, не поддерживали общие разговоры и больше всех маялись от вынужденного безвременья дороги. Но Леша знал, что на самом деле ни «хорьков», ни пьяниц, ни балагуров здесь нет – на нижних и верхних полках мерцали лишь графики функций, остаточные токи давно умерших организмов. Их время уже закончилось, его унесли птицы на высоковольтных проводах, а тела по инерции все еще чертили нелепые траектории в плацкартах или были раскиданы человеко-бревнами по спальным местам. Эти бревна верили, что еще тянутся ввысь лесом, не подозревая, что их давно спилили и положили в срубы чужих теремов и несчастливых домашних империй.

«А я ведь и сам стал точно таким же бревном», – подумал Леха и ощупал лицо, словно пытаясь обнаружить невидимый спил.

– О, вот и Леха проснулся, – обрадовался хозяин забытой карточки. – Спускайся к нам. «Дошик» будешь?
– Не, спасибо. – Леха спрыгнул с верхней полки.
– Ну и зря, – обиделся вахтовик. – Между прочим, я туда ветчинки кинул.
– Ты его не уговаривай, – посоветовал сосед. – Леха у нас бич-пакеты не ест, он большой ценитель изысканной домашней кухни – цыпленка табака, картошечки по-деревенски…
– От картошечки я бы и сам не отказался, – причмокнул любитель «Доширака». – Да только где ее сейчас возьмешь? Менты гоняют бабок от самого Усинска.
– Совсем оборзели, – поддержал кто-то из мужиков. – И в тамбуре не покурить.

Алексей почему-то вспомнил лицо бабульки из Барабинска с характерной сеточкой морщин, но оно расплывалось перед его мысленным взором, уходило в слепоту бушевавшей за окном метели. Интересно, сколько птиц и просек разделяют сейчас этот поезд и серый барабинский перрон? На мгновение Лехе померещилось, что старая история с кульком картошки ему просто приснилась – вместе с Иванычем и всей прошлой жизнью.

Он вышел в коридор за кипятком, но не успел подойти к титану, как что-то черно-белое скользнуло за стеклом. От неожиданности Леха чуть не выронил кружку. Сорока! Но откуда она взялась в этой заледенелой глуши? Случайно отбилась от своих, не успела вернуться перед непогодой в родное гнездо? Леша всматривался в белые пространства, стремясь угадать, откуда снова выпорхнет этот осколок жизни. Но сорока провалилась в снежную темень, словно телеграмма о самом важном, выпавшая из плохо закрытого почтового ящика.

– Леш, заглядывай на огонек, – послышался голос сзади. – Мои в соседнем вагоне опять в литрбол играют.

Это был Николай Сергеевич, низкорослый мужичок в летах.

– Без проблем. – Леха присел за столик в плацкарте. – Ты от них хотя бы немного отдохнул?
– Первый раз выспался, – зевнул Сергеич. – Слушай, я вот что хотел спросить: тебе, случаем, банный котел не нужен? Я новый ставлю, а старый девать некуда. Почти не пользованный.
– Сергеич, ты что, забыл? У меня нет бани.
– Прости, запамятовал, – извинился вахтовик. – Старость не радость.
– Бывает, – кивнул Леша.

Сергеич давно строил баню, но лишь немногие знали подноготную этой истории. Всю жизнь старый вахтовик прожил в городской квартире и всегда мечтал о собственной баньке из настоящего северного сухарника. Такая стояла у деда в деревне, куда маленький Колька приезжал на каникулы. Дедушкина баня давно сгорела, но Николай навсегда запомнил ее угловатую душу, и мох между бревнами, и терпкий аромат потемневшей от времени кондовой парилки.

После смерти деда деревенский дом достался семье дяди. Николай обзавелся собственным земельным участком только в зрелые годы, и строительство бани сразу превратилось для мужчины в навязчивую идею. Он долго копил деньги, придирчиво подбирал материал и работников. Однако в таком важном деле мало кто мог устроить Сергеича, поэтому сруб ему пришлось в итоге мастерить на пару с тестем и двумя знакомыми калымщиками. Впрочем, хозяин скоро со всеми разругался и доделывал баню уже в одиночку, медленно и кропотливо. Но чем ближе стройка подходила к концу, тем острее Сергеич чувствовал, что баня стала не просто мечтой, а единственной мечтой всей его куцей жизни.

Он привык жить по наработанной схеме «дом – работа – дача» без далеко идущих планов и с женой, закручивающей банки с огурцами, когда вселенную легко уместить в коробку, а мир состоит из мелочей и наполняется только мелочами. И лишь баня тихонько росла вверх, пускала корни в углу квадратного и давно распланированного участка души Николая – там он еще мог себе позволить что-то менять. Но Сергеич никогда не задумывался о моменте, когда его большой проект полностью обретет плоть.

По вечерам он приходил в пахнущую терпким сосновым духом парилку, забирался на верхнюю лавку и подолгу сидел в полумраке. Закрывал глаза, представляя, будто находится в дедовой бане. Потом трогал доски лежанки, все еще гадая, подходят они для такого дела или не совсем и тот ли человек сидит сейчас на них или уже изменился. Теперь вахтовик испытывал страх перед будущим, в котором не оставалось места ни для чего большего. Темное нутро собственноручно выстроенной мечты не отпускало Николая Сергеевича, будто намекая, что настоящая тьма сгустилась не здесь, а за предбанником, забором, автобусной остановкой и далее со всеми.

С тех пор Сергеич лишь улучшал давно готовую баню. То порожек перестелет, то в парилке что-нибудь подправит. Баня топилась по субботам, и постепенно ее стены пропитывались копотью, но для Николая дело еще не было завершено. Жена поначалу ворчала, но потом смирилась, плюнув на чудачества супруга, регулярно орудовавшего молотком или рубанком в углу участка.

– Ты «Ниву» еще не продал? – вдруг спросил Сергеич.
– Нет. На объявление пока не клюют.
– Не продавай ее, Леш. – Сергеич взглянул Алексею прямо в глаза.
– Не понял? – прищурился Леха.
– «Нива» отцовская?
– От папы досталась, – кивнул Алексей. – Если сейчас не продам, через пару лет ее никто не купит. Она почти ржавый хлам.
– Нет, не хлам, – покачал головой Сергеич. – Дело, конечно, твое. Но ржавеет, Леш, лишь то, что забывается. Не знаю, поймешь ли меня. Но вот что хочу тебе сказать: мы живем не здесь и не сейчас. Мы живем только там. – Старый вахтовик прочертил по запотевшему окну полосу в сторону, куда уносились прочь столбы, деревья и хлопья снега.

Утренний дом встретил Алексея пустотой. Жена уже ушла на работу, а дочь сдавала зачет. Нина по

телефону не уточнила, какой именно, а Леша не переспросил. Да это и не имело никакого значения.

Слова Сергеича не шли из головы. В «Ниве» все кричало об отце – и «розочка» на ручке переключения передач, и обивка кресел с въевшимся намертво запахом батиного табака, и почти истертая наклейка красавицы начала восьмидесятых на приборной панели. Леха помнил, как она еще сияла свежей цветной улыбкой в тот счастливый день, когда отец забрал его из детсада перед сончасом и повез на речку. Лешка шмыгал носом, и большой сильный человек время от времени заставлял его высмаркиваться. «Оторву твой нос поганый!» – притворно кричал батя, и маленький Леха поначалу пугался, а потом смеялся. «Раз-два!» – командовал папа, и сын послушно прочищал ноздри в подставленный к носу совсем не мамин, а необычный, суровый платок.

Потом они шли к самодельному турнику на берегу, отец подсаживал Лешку и следил, как сын пытается подтянуться. «Так только обезьяны висят», – хмурился батя, и Леха исправлялся. Менял хват, убирал большой палец под перекладину. Потом бежал за папой босиком по прогретой майской тропинке – чтобы никогда не болеть. После купания батя вытирал его большим мохнатым полотенцем, и Леха становился похожим на нахохлившегося чижа. Это очень веселило отца. Перед отъездом он протирал тряпкой стекла «Нивы», хлопая дверью. Солнечные зайчики летели во все стороны, Лешкино сердце замирало от чуда, и не было в тот момент ничего прекраснее на свете.

Через несколько месяцев все это исчезнет, и Леха сядет за руль новой иномарки, пахнущей стерильной пустотой, потому что это нормально, потому что это необходимо. Точно так же в его жизни уже обосновалась масса стерильных и правильных вещей, добротно сколоченных вокруг своих межатомных пустот. Светлый шкаф из «Икеи» вместо маминого серванта, такой же бледный, почти отсутствующий диван, удобный компьютерный стол, сменивший старенький школьный с теплой щербинкой на краю, которую Леша расковырял в четвертом классе от обиды за двойку. А потом много раз, когда было плохо, скользил по ней пальцем, словно надеясь заручиться защитой дерева, пропитанного запахами старых тетрадей и одеколона «Саша» в засохших фломастерах, и всей могущественной карандашной республики, обитавшей ящиком ниже. Скоро и запах отцовской машины останется в другом мире, ведь он, Леха, уже дернул невидимый рубильник принятого решения, и продлевать дни тому, что он для себя уже похоронил, нет никакого смысла.

Леша достал купленную по дороге бутылку «Столичной», налил полстакана. Выпил, не закусывая. Огненный симбиоз водно-спиртовой смеси не столько согрел, сколько обжег.

Как же все по-дурацки устроено! Маленький несуразный Сергеич вцепился смертельной хваткой в то, что не мог отпустить, и затормозил ход времени, а он, Леха, не в силах даже снять вывешенное в интернете объявление, объяснить себе, что и рубящему взад-вперед маятнику можно вцепиться в горло, обмануть всегда выигрывающее казино. Алексей вдруг почувствовал, что время, отпущенное «Ниве», на самом деле уходит струйкой не из отжившей свой век машины, а из его грудной клетки.

Днем он мучился от истязавшего душу тревожного чувства, ранившего невидимой иглой сердце. Йоркшир соседа Вовы снова лаял, и ад запертой дома собаки изводил Леху, маявшегося похожей истомой. Пес рвался в обивку двери. Вова ходил играть к Черепановым в домино, но Арчи этого не понимал и часами лил безутешную отповедь хозяину. Вечерами Леха особенно жалел брошенную псину. Он часто сравнивал Арчи с собой и с каждым разом находил все меньше отличий.

Впереди его ждали лишь черные океаны проживаемой зря жизни, чьи приливы и отливы без труда угадывались заранее. Мерцающие дни, обесточенные ночи, безупречные рефлексы прибрежного краба и раз в месяц полнолуние в пухлом конверте. Тлеющее тепло застрявшего в этом мире тела, которое не сделало за свой век ничего путного.

Скоро вернется жена, но не спросит, как выдалась вахта, потому что ей давно все равно. Леша вручит Нине купюры, и безучастные глаза супруги на миг вспыхнут, заискрятся искорками, словно мех норки. Из института явится Варька и, поздоровавшись на ходу, сразу отчалит в свою комнату. За ужином, возможно, немного оттает, снова станет ласковой, попросит денег. Когда же все они стали друг другу чужими?

А потом вечер закончится так же глупо, как и начался. Разве что в ванной останется тонкий шлейф изысканного парфюма и еще чего-то неуловимого из арсенала дам, которые с годами вдруг начинают крайне внимательно следить за собой. Леха был уверен, что именно так должны пахнуть женщины за пять минут до измены. И лишь тонкое серебряное колечко, которое он подарил на втором курсе счастливой озорной Нинке, будет спать на полоч-

ке у зеркала, таинственно поблескивая в полутьме светом давно погасшей звезды.

Много раз Леха представлял, как однажды не вернется домой. Эта мысль постоянно возвращалась к нему, обрастая десятками сценариев. Например, он поскользнется и упадет под колеса грейдера. Или, монтируя антенны вышки связи, сорвется с высоты тридцатиэтажного дома. «А если я просто не проснусь? – размышлял Леша. – Интересно, заметят ли они мое отсутствие, станут ли искать, звонить? Исчезну ли я навсегда или мое тело все еще будет ездить на вахты, томиться в поездах, спать с женой в разных постелях?»

Будильник на холодильнике стучал в тишине, и Леха чувствовал, как жилка на шее пульсирует в такт. Тик-так, хлоп-хлоп… Кто прозвал это состояние черным? Нет, у него цвет иной – прозрачной акварели полного безразличия. Как стекло этой тикающей звенелки. Все так увлечены гонкой по ее замкнутой круглой физиономии, не замечая, что настоящая беготня происходит совсем в иной плоскости.

Сначала ты просто впитываешь свет, подставляя солнцу циферблат молодого лица, и сменяющие друг друга стрелки правил и формальностей лишь красиво оттеняют твою жизнь мужественным «надо». Но с годами незаметно просачиваешься внутрь – туда, где больше нет света, зато есть рубины. Тебя постепенно засасывают в свою круговерть важные и неотложные колеса. Затем погружаешься еще глубже, и мир встроенного зубчатого порядка начинает казаться почти родным; появляется ощущение, будто вот-вот доберешься до сути, приводящей все в действие. Но когда ты почти схватил эту суть за распрямляющееся естество, неожиданно понимаешь, что управляют ей совсем с другой стороны, а в конце тебя ждет обыкновенная крышка, на которой навеки застыла ехидная усмешка будильничьего Гуинплена.

Леха смотрел на гаснущий горизонт и вспомнил, как в пятом классе с мальчишками гулял после уроков за железнодорожным депо и дошел до тупика. Рельсы упирались в черно-белую птицу полосатого упора, за которым начиналась небольшая березовая рощица. Неподалеку пути переходил дядька в оранжевой жилетке.

– Дядь! – окликнул его Лешка. – А что будет, если поезд поедет дальше?
– Сказки начнутся. И чудеса, – погрозил пальцем железнодорожник. – Шли бы вы отсюда, двоечники. Железная дорога – не место для игр.
– Мы не двоечники! – возмутился Леша. – И какая же это дорога, если дороги больше нет?

Но пацаны дернули его за рукав: «Ладно, пошли отсюда».

Дома Лешка размышлял, что бы он встретил за деревьями, перед которыми обрывались рельсы. Ему казалось, там лежат поросшие мхом остовы старых забытых путей, а может, наоборот – начинаются новые. Леха много раз мечтал о том, как в одиночку исследует перелесок, но так и не сделал этого, опасаясь спугнуть то, что там непременно должно быть. Перед сном он часто думал о деревьях за тупиком. Ему нравилось представлять, что в роще все правильно, а значит, ничего не совершено и не завершено.

Только сейчас, стоя у промозглого окна и думая о железнодорожном тупике, Леха понял, куда на самом деле вела линия, прочерченная Сергеичем по вагонному стеклу. Нет, она уходила не в прошлое, а куда-то вбок, прочь от всех времен и железнодорожных путей. Где-то там пульсировали упрямыми нейтронными звездами все эти милые, нелепые и ничтожные вещи, живые и мертвые, нетронутые и сокрушенные – все, что давно ушло, и то, чего вовсе не существовало. Они держали его за шкибон, не давали сойти с ума, но и корежили, срывали действительность с резьбы, потому что не просто жили вопреки всему, а казались Леше единственным живым из всего, что его окружало. Невидимой темной материей они крутят водовороты галактик людских жизней, стягивают невидимые глазу структуры человеческих сверхскоплений, а люди думают, что вращаются только вокруг своих солнышек. И Леха впервые почувствовал, насколько они сильны, эти вещи.

Закат сменился фиолетовыми сумерками, и в окно уставился огромный глаз антрацитного неба – холодный, глянцевый, птичий. Какой смысл тянуть еще двадцать-тридцать лет, похожих друг на друга, как близнецы? И даже до следующей вахты ждать незачем.

На днях он уйдет в гараж. Наврет жене что-нибудь про «предпродажную подготовку». Запрет ворота, включит двигатель «Нивы» и даст выхлопам и времени все сделать самим.

Во входной двери заскрежетал ключ.

– Представляешь, зовут в 535-ю завучем, – безучастно сообщила Нина, расстегивая молнии на сапогах. – Вот только лишний час езды…

«Наверное, она рассказывает все это себе как аутотренинг, – догадался Леха. – По десятому разу за день».

– …В общем, взяла время подумать, – продолжала супруга. – Кстати, у Ленки муж на новое место перешел. Им вроде мастер нужен на стройке. Может, пойдешь?
– Уже проходил эту кухню, неактуально, – бросил Леха в коридорную пустоту.
– Конечно, «неактуально», – передразнила Нина. – Разве это может быть актуальнее твоих пьяных поездов?
– Перестань, – процедил Леша. – Какая к черту стройка? За год радикулит три раза бабахал.
– Ходи в спортзал, бегай по утрам – и бабахать не будет, – заворочались зубья хорошо знакомой пилы. – И коль уж речь зашла о поездах, лучше подумай, почему мы три года нигде не отдыхали. Даже в Сочи выбраться не можем!

В квартиру позвонили – звонок два раза протяжно пропел соловьем.

– Вот и Варька вернулась, – обрадовалась мама.
– Ма, па, привет! – наскоро поприветствовало родителей семнадцатилетнее создание и сразу перешло к решительной атаке: – Пап, мне деньги нужны, срочно. С девчонками в клуб собираемся. В приличный! Но без бабосов там ваще без вариков. Не хочу выглядеть отстойщицей.
– А с бабосами, значит, не отстойщица? – хмуро осведомился Леха.
– Леша, не заводись, – предупредила Нина. – Девочка должна общаться с подругами на равных.
– Я сейчас не об этом.
– Пап, да не волнуйся ты, все будет нормально. – Варя обняла отца за шею и чмокнула в небритую щеку. – Просто там новый диджей, будет крышесносная программа.
– Что, даже без таблеток?
– Папуль!!!
– Ладно, уговорила. – Леша достал портмоне и зашелестел бумажками. – Пяти тысяч хватит?
– Пап, – обиженно просипела Варвара.
– Хорошо, пусть будет семь.
– Пап, мне нужно двадцать. И это минимум.
– Ты что, смеешься?!
– Я же не собираюсь все тратить, – шмыгнула носом Варька. – Просто пойми: стыдно в таком месте заседать с лоховскими деньгами.
– Лоховскими? – Леха почти физически ощутил привкус солоноватого слова.
– Ну да, лоховскими, – подтвердила Варя. – Папульчик, ты только не обижайся. Если топаешь в отличный клуб, денег у тебя должно быть много, иначе ты лохушка и нищебродка. Даже Женька, которая из своего сельпо к нам поступила, – и та догоняет. Заработала на тусу. А у нее, между прочим, ни папы, ни мамы. И ниче, крутится, не хочет быть отстойным лохозавром. Хотя и в их сельпо объявляются лохи. Иногда даже с деньгами.
– Успела развести парня на бабки? – хмыкнул отец.
– Леша! – напомнила Нина.
– Не, там не в парне дело, – пояснила Варя. – Лохом я его называю просто для ясности. Женькины предки по пьянке умерли, когда ей и пяти не было. Ее тетка растила, бабушкина сестра. Вот они и тянули вдвоем на бабкину пенсию. В долги влезли, а отдавать нечем. Тетка торговала чем могла, да какая торговля в их дыре – копейки вшивые. Она потом признавалась Женьке, что в тот вечер даже собиралась повеситься от такой жизни – мол, внучке в детдоме все одно будет лучше. Сходила последний раз на вокзал поторговать, и вдруг какой-то проезжий лох купил у нее пирожки в поезд. Да еще тридцать тыщ дал! Просто так дал, прикинь? Хотя, думаю, заливает Женька… Папуль, да что с тобой? Ты плачешь, что ли? Пап, папочка, ну перестань!

БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕМОНТ

АНДРЕЙ УБОГИЙ
Родился в 1963 году в городе Железногорске в семье врачей. Окончил Смоленский медицинский институт. Живет и работает в Калуге. С 1986 года и по сей день — практикующий хирург-уролог.

Прозаик, эссеист, драматург. Автор десяти книг прозы. Имеет многочисленные публикации в российских журналах и альманахах. Роман «Доктор» переведен на итальянский язык.

Едва ли не первый ремонт, который я помню и в котором участвовал, – это покраска крыши в Тиму. Дом, в котором прошли отцовские детство и юность, а потом часть моих собственных детства и юности, стоял в центре поселка, на вершине холма, вознесенного над степною речушкою Тим. Вообще, эти места к востоку от Курска являются высшей точкой Среднерусской возвышенности; мало где я встречал столь же вольные виды, как те, что открыты с тимского холма – и тем более с крыши отцовского дома. Сам поселок – его кровли из жести и шифера, проймы улиц, сады и заборы, труба котельной у бани – все это сверху казалось игрушечно-маленьким; но зато бескрайними, уходящими в сизо-туманную даль, были желтые волны полей, разделенные полосами лесопосадок и лентами черноземных дорог.

Наш дом, как рассказывали, был построен еще до революции купцами-коннозаводчиками – то есть возраст его приближался к столетнему, а его стены (об этом бабушка говорила с особенной гордостью) были набраны из обожженного дуба. Но вот кровля была слабовата. Листовое железо ржавело, крыша грозила вот-вот потечь – и нам с отцом надо было хотя бы покрыть ее свежей краской.

Хорошо помню тот громыхающий звук прогибавшейся жести, с каким я, подросток двенадцати лет, осторожно прошел по скату кровли. Этот звук воскресил во мне самое первое, еще младенческое, воспоминание: как меня купали в жестяном корыте, дно которого вот точно так же хлопало и прогибалось под моими переступающими ногами. Поэтому, переступая по громыхающей крыше, я себя чувствовал одновременно младенцем – и взрослым, которому поручили серьезное дело. Такого объемного, младенчески-взрослого состояния я доселе еще не испытывал – как не испытывал и такого же острого, тоже объемного, ощущения полноты окружающей жизни. С крыши я видел почти весь поселок – он лежал внизу как на ладони – и чувствовал, как нераздельно-единым потоком течет подо мной поселковая жизнь, такая понятно-знакомая – и в то же время такая таинственно-непостижимая.

Прежде чем красить крышу, надо было ободрать с листов жести старую краску и счистить ржавчину. Этой однообразной и нудной работой мы с отцом занимались почти целый день: сидя на корточках, шаркая проволочными щетками по железу и в кровь сбивая костяшки пальцев о ребра вальцевой кровли. Что там пальцы – если даже проволочные щетки истирались за полтора-два часа и уже не визжали, срывая шелуху старой краски и оставляя на жести штрихи свежих царапин, а глухо стучали в железо облысевшею деревянной основой.

Но чем хороша вот такая работа, немудреная и монотонная, – так это возможностью и подумать

о чем-то своем, и поглазеть на то, что происходит вокруг. Удивительно, но почти все, что я видел и слышал в тот день, было связано тоже с ремонтом. То ли действовал принцип «рыбак рыбака видит издалека» – и я, ремонтируя крышу, замечал вокруг только то, что касалось починки, подправки, покраски, – то ли действительно поселковая жизнь представляла собой бесконечный ремонт.

Вот в соседнем дворе завизжала пила, а потом застучал молоток, и свежий сосновый горбыль закрыл в заборе дыру, через которую так любили шнырять к нам соседские куры. Вот, через улицу, расчищают забитую сором канаву для стока воды: а то после дождей там во весь тротуар разливается лужа. А вон там, ближе к сберкассе, красят наличники окон: ярко-синие, они так непривычны на постаревшем фасаде, что отчего-то становится грустно – так бывает, когда на стареющем женском лице видишь броскую, алого цвета, губную помаду…

И куда ни посмотришь – везде метут сор или чинят калитку, освежают побелку на стенах, поправляют желоба водостоков, выбивают ковры, заливают раствором отмостки, чистят трубы печей или заклеивают пробитые камеры велосипедов. Даже местный похмельный пропойца, встретив знакомую, обратился к ней с просьбой, касавшейся, в сущности, тоже ремонта:

– Мать, одолжи рубль – мне поправиться надо…

«Так значит, – подумал я, шаркая щеткой по крыше, – и вся жизнь Тима есть один непрерывный ремонт? Люди здесь только и заняты тем, что пытаются что-то исправить, подделать, почистить, привести в божеский вид, подлатать, укрепить и заштопать…» Тогда, видя Тим сверху, я как-то физически ощутил напряжение и усилие жизни, удерживающей саму же себя от распада, – усилие, частью которого был и наш с отцом ремонт крыши.

То, что не только жизнь небольшого райцентра, но и жизнь всей страны представляла собой бесконечный ремонт, я понял достаточно скоро. На что ни взгляни – в квартире и доме, на улице, в школе, – всюду были видны следы тех усилий, которыми люди пытаются как-то исправить, «подремонтировать» жизнь. Сеть домов быта и мастерских по починке одежды, обуви или бытовой техники была раскинута по всей стране; а где мастеров не хватало – там предлагалось вести ремонт собственными силами. Рубрики «Сделай сам» или «Домашнему мастеру на заметку» размещались во всех популярных журналах – и, таким образом, ремонт возводился чуть ли не в ранг государственной идеологии.

Что можно вспомнить? Ну вот, к примеру, хоть то, как я носил в починку часы. Ближайший от нас часовой мастер работал на Маяковке (тогда это была окраина города), в небольшой комнатушке с окошком, к которому приходилось склоняться, выражая тем самым и уважение мастеру, и просьбу о том, чтобы он посмотрел переставшие тикать часы.

– Что там у вас? – говорил часовщик недовольно, как будто его оторвали от куда более важного дела, чем починка часов. – Ну, давайте посмотрим…

Он брал твои наручные часы, выдергивал из них ремешок, затем, покрутив часы в пальцах, хватал со стола пинцет и в несколько быстрых движений отвинчивал крышку. Потом часовщик, все такой же насупленно-хмурый, вставлял в глаз монокль и начинал осмотр сложно сцепленного клубка из мелких зубчатых колес. Мастер заглядывал внутрь обнаженного механизма, словно в прорубь или колодец, где недавно жило и двигалось время – но теперь оно то ли заснуло, то ли сбежало из опустевшего, свитого из шестеренок, гнезда?

– Вы что, их роняли? – возмущенно и грозно спрашивал часовщик.

Я сокрушенно кивал: да, ронял… Горько вздохнув – мол, что за люди: ломают и портят все, что попало к ним в руки! – мастер, щурясь от напряжения, тонким шильцем старался во что-то попасть внутри сложно-ажурного переплетения шестеренок. Может быть, он хотел уколоть само задремавшее время – чтоб оно пробудилось и вновь задрожало-задвигалось в недрах оживших часов? И вот, наконец, он нанес точный укол – пружина часов задышала, спадаясь и вновь расширяясь – а следом поспешно задвигались все шестеренки. Их дрожь была мелкой и суетливой: они словно спешили догнать, наверстать, отработать все то, что проспали…

Там, в каморке часовщика, я впервые почувствовал некий зуд времени: то неутолимое беспокойство, которое и является его, времени, сутью. На полках мастерской часов стояло много, крышки многих из них были сняты, и можно было увидеть, как внутри этих всех механизмов вибрирует – словно чешется – время. Казалось, внутри часов живут сотни мелких, сверкающих блох, которые гложут-кусают все то, что им попадается, – и вот-вот готовы прыгнуть и на тебя самого. И ты, расплатившись, скорей выходил из укромного логова часовщика, вынося вместе с починенными часами ощущение времени как некой порчи или болезни, которой подвержен весь мир, которая гложет его и терзает – и от которой пока не придумано средства спасения…

Вообще, сапожное ремесло, при всей его прозаичности, мне представляется полным поэзии. Ведь обувь – важнейший посредник меж нами и нашими жизненными путями. Именно обувная подметка несет нас на себе – пока, разумеется, нас держат ноги, – именно обувь хранит нас от терний, какими усыпаны наши дороги.

А ремонт обуви? До сих пор памятен вкусный запах обувной мастерской – запах, в котором смешались кожа и дратва, вакса и клей, вар и сапожные гвозди, блестящие в круглой коробочке, словно икра. Не тревога, как у часовщика – а, напротив, покой опускался на душу, когда ты входил в мир сапожного мастера, где пустые колодки торчали, как головы птиц, где на полках стояли десятки ботинок и туфель – и на каждой подошве был мелом надписан их номер, где ножи из автомобильных рессор резали кожу, как масло, и где стол был забросан гвоздями, обрывками дратвы и черной стружкой каблучных набоек.

И, в отличие от угрюмого часовщика, обувной мастер почти всегда бывал добродушен и весел – точнее, он часто был навеселе. Ибо куда же деваться от того архетипа, который вошел в поговорку: пьян, дескать, словно сапожник?

И работал обувной мастер с какой-то особенной, ласковой легкостью. Всегда было приятно смотреть, как он, зажав гвозди губами и мыча мотив какой-нибудь песенки, поочередно, с упругим пристуком, вколачивал эти гвозди в подметку, и по ее заскорузлому краю тянулся пунктир серебристо мерцающих шляпок. А как он продергивал дратву сквозь туго скрипящую кожу – так, что из дратвы выдавливалась слеза густого сапожного вара?

А как виртуозно менялись набойки на каблуках женских туфель? Вот старая, стоптанная набойка сковырнута пяткой ножа, вот, в один точный удар, приколочена новая – и вот уже контур набойки обрезан, заподлицо с каблуком, тем же самым острейшим рессорным ножом.

Вообще, сапожное ремесло, при всей его прозаичности, мне представляется полным поэзии. Ведь обувь – важнейший посредник меж нами и нашими жизненными путями. Именно обувная подметка несет нас на себе – пока, разумеется, нас держат ноги, – именно обувь хранит нас от терний, какими усыпаны наши дороги. С самой первой младенческой обуви (которая и называется очень по-детски: пинетки) и до тех тапочек, в которых мы с вами когда-нибудь будем лежать под басы панихиды – какое великое множество обуви перебывает на наших ногах!

Вот сандалии детства. Ремешки их оборваны, задники стоптаны; но с каким наслаждением ты, бывало, совал свои детские стопы внутрь горячих, нагретых на солнце сандалий – и бежал прочь от дома, на выгон, на речку, туда, где тебя ожидала огромная и еще непочатая жизнь. Сандалии то поднимали клубы пыли, то шелестели в отаве, то шлепали в лужи, то оскользались на коровьих лепешках – но несли и несли тебя в некую, властно манящую, даль…

Ты подрастал, и вот уже вместо сандалий на твоих ногах были кеды, популярная обувь тех лет. В кедах – брезентовых ботинках с резиновой подошвой – ходили подростки, студенты, спортсмены, туристы и даже старушки: чуть ли не вся страна носила эту дешевую и удобную обувь. Правда, ремонту они почти не подлежали: надо было совсем уже впасть в нищету, чтоб зашивать драные кеды.

А шиповки, которые ты надевал непременно на босу ногу и в которых стопа становилась упругой и нервной, как будто подкованной? В шиповках нельзя было просто стоять или просто идти – нет, они понуждали бежать, рассыпая по виражу стадиона дробно-сухой перестук.

А сапоги-«болотники», непременные спутники байдарочных сплавов по рекам – «болотники», без которых никак не пройти перекат-«шкуродер», не причалить к топкому берегу, да и просто не выйти к реке по росистому, в свежих кротовинах, лугу?

А легендарные кирзачи? Им вообще надо ставить памятник: ибо кирзовый сапог – это главная обувь России XX века. Солдаты, строители, зэки, колхоз-

ники, пастухи и шоферы – то есть все, кого можно назвать мужиком, – все носили «кирзу». Я и сам, в стройотрядах студенчества, с ног не спускал эту очень удобную, ловкую обувь. В холод и сырость кирзовый сапог согревал – а в жару, как ни странно, ноге в нем бывало прохладно. А уж когда ты обносишь сапог по стопе – то он вообще начинает казаться частью твоего тела. Снимешь сапог – и как будто лишился какого-то нужного органа, стал неловок и беззащитен.

Вообще, и одежда, и обувь, которую ты, поносив, подогнал по себе, становится как бы твоей второй кожей. Это словно скульптурная форма: если тебя как-нибудь осторожно вынуть из брюк и рубахи, носков и ботинок – то, аккуратно залив в них какой-нибудь гипс, можно, в принципе, изготовить твоего двойника.

Я уж не говорю о том, что одежда и обувь вобрали так много тепла твоей жизни – впитали, в прямом и переносном смысле, так много твоих слез, пота и крови – что как можно легко, равнодушно и просто взять да и выбросить отслужившую, старую вещь? Нет, ремонт – в том числе и одежды, и обуви, – это наш долг пред самими собой, перед той частью жизни, в которой нам верным другом и спутником были, к примеру, вот эти штаны или ботинки.

В нашем личном стремлении к бессмертию – а оно, хотя бы отчасти, присуще всем людям – есть один важный момент. Если я предполагаю возможность бессмертия для себя самого, то я не могу не желать того же и людям, которых я знаю, люблю, среди которых живу, – и более того: я не могу не желать бессмертия миру, в котором родился и жил. Дело другое, что не всё сплошь из этого мира мы хотели бы взять с собой в вечность; но, в принципе, мы даже не можем помыслить возможности «изолированного» бессмертия: когда мы сохранимся, а все то, средь чего мы живем, – бесследно исчезнет. Между нашим стремлением туда, где длится «жизнь бесконечная», и стремлением продлить жизнь предметов, которые нас окружают, есть глубинная и обоюдная связь. Тот, кто легко, без малейшей заминки взял да и выбросил отслужившую вещь – тот словно и сам, пусть на микроскопически малую долю, убавил и собственный шанс на бессмертие.

Думаю, каждый испытывал чувство, что выбрасывать старую вещь – ту, к которой привык и с которой сроднился, – бывает порой неловко и даже стыдно. Недаром же, чтобы как-то смягчить эту неловкость (она и впрямь чем-то сродни угрызениям совести), мы сначала просто-напросто прячем отслужившую вещь в дальний угол, потом выносим ее в гараж или ссылаем на дачу – тем самым отодвигая, смягчая момент неизбежной последней разлуки.

Иными словами, отношение к людям и к себе самому мы неосознанно переносим и на предметы, которые нас окружают. Жалеешь людей – пожалеешь и вещи; свет, исходящий из истинно доброго сердца, озаряет не только людей, зверей, птиц, но даже предметы бездушного мира, которые в этом свете людской доброты как бы согреваются и оживают.

И, с другой стороны: равнодушие, холод, небрежность к вещам, окружающим нас, есть симптом равнодушия к жизни в целом. Мне порой кажется: тот, кто легко может выбросить отслужившую, старую вещь – так же точно легко может выбросить и человека.

И вот тут надо с грустью признать, что из нашей теперешней жизни ремонт все стремительней и невозвратней уходит. Современное общество – «общество потребления» – не терпит ремонта в принципе и старается отовсюду, откуда возможно, его изгонять. Ныне ремонт, если он все же случается, обыкновенно сводится не к починке изделия, а к замене в нем неисправного блока.

Но современность явила нам и еще один феномен, возникший не так уж давно и, похоже, имеющий самые неутешительные последствия. Я имею в виду одноразовые предметы. Посмотрите вокруг: не говоря уж об одноразовых упаковках – пакетах, контейнерах, пластиковых бутылках, коробках – нас окружает и одноразовая посуда, и одноразовые вилки-ложки, и одноразовые полотенца и скатерти, зажигалки и авторучки – и еще много чего одноразового. Желающие, как говорится, могут продлить этот перечень по своему усмотрению.

И если, например, в медицине такая одноразовость шприцев или скальпелей оправдана соображениями асептики, то целесообразность иной одноразовости по меньшей мере сомнительна. Неужели соображения мимолетного и сиюминутного удобства – надорвал упаковку, выпил-съел содержимое, тут же выбросил опустевший контейнер или бутылку – оправдывают и затраты на производство этих всех упаковок и тот вред, который они причиняют среде, окружающей нас?

Да и прочие вещи – одежда и обувь, машины и мебель, разнообразные бытовые устройства – становятся все более эфемерными: они тоже движутся к одноразовости. Срок службы предметов стремительно сокращается: одежда и обувь рассчитываются на сезон, автомобиль – года на три-четыре, мебель тоже недолго задерживается в нашем жили-

ще. Это не то, что, к примеру, на диво стачанные сапоги прежних лет, которые могли переходить от отцов к сыновьям, или, скажем, швейные машинки «Зингер», которые, купленные в приданое какой-нибудь рукодельнице, служили потом ее внучкам и правнучкам.

Вот-вот, кажется, эффект одноразовости, столь характерный для современности, распространится и на самого человека. Во всяком случае, выражение «одноразовый электорат» уже бытует в сфере политтехнологий. Наша жизнь, окруженная одноразовыми вещами, становится и сама одноразовой, эфемерной – лишается некой тяжеловесной серьезности, укорененности в глубине бытия.

Поневоле с нежностью вспомнишь жизнь прежнюю – ту, в которой ремонт был важнейшей ее составляющей. В социологии есть даже термин «общество ремонта». «Общество ремонта» исторически и психологически противостоит тому «обществу потребления», в котором мы существуем сегодня. Конечно, в той, прежней жизни было немало и темного; но вспоминается отчего-то именно та теплота бытия, та нежность к старым вещам, которые рука не поднималась выбросить и которые после ремонта продолжали служить тебе верой и правдой. Одежда штопалась и перелицовывалась, обувь клеилась и прошивалась, техника – от трехколесного велосипеда до трактора – возрождалась порой из такого «убитого» состояния, что это напоминало воскрешение мертвых. И, как я прочитал в одной ученой статье, посвященной «обществу ремонта», выбросить пришедшую в негодность вещь было почти так же немыслимо, как оставить раненого товарища.

Но, кроме ремонта вещей, есть еще и ремонт наших собственных тел. И эти ремонты у большинства из нас начались еще в детстве, в кабинете стоматолога. Кто не помнит сверкающий шланг бормашины – эту как бы змею, которая вот-вот ужалит тебя? И ведь жалила: под пронзительный вой зубоврачебного агрегата – да и, случалось, под твой собственный вой. К тому же тогда, пятьдесят лет назад, и бормашины были какие-то, в сравнении с нынешними, «ветеринарные», да и анестезия была не в ходу: сверлили и дергали зубы все больше, что называется, наживую.

То, что в жизни есть место страданию, ты понял именно там и тогда: когда сердце сжималось от ужаса, потные руки судорожно цеплялись за собственные колени, когда челюсть чуть не вывихивалась от усилия раскрыть рот шире, а вспышки боли, казалось, вот-вот разорвут твой трясущийся череп на части! Но зато и какой же покой нисходил на тебя, когда, после всей этой пытки, ты слышал слова стоматолога, обращенные к медсестре: «Приготовь мне фосфатцемент», – и понимал, что на сегодня твои мучения кончились, потому что сейчас начнут ставить пломбу.

Из зубоврачебного кабинета ты выходил обновленным. В глазах все искрилось от слез, и мир представлялся таким удивительно новым, как будто родился вот только что, в эту минуту – когда тебя, после муки зубного ремонта, опять допустили к нему. И как было приятно ощупывать языком свежепочиненный зуб, чувствуя гладкую, новую пломбу! В ощущении этом, правда, была и печаль – ведь ты оказался не так уж и молод, и крепок: коль скоро тебя, шестилетнего, приходилось чинить – но была вместе с тем и уверенность в том, что все в конце концов можно исправить. Ведь удалось же, хоть и не без мучений, так починить больной зуб, что он стал лучше прежнего?

Разрушение, что принесло тебе время, а потом опыт страдания и его преодоления, превращали тебя из ребенка в человека, уже искушенного и умудренного жизнью. Жизнь, можно сказать, уже в шесть лет изрядно тебя потрепала. И ты устоял перед этим, едва ли не первым, ее испытанием: ты не озлобился, не испугался, но только стал тише, печальнее, строже – поскольку вдруг понял, что жить это значит терпеть…

Годы шли, и ремонты ветшавшего тела становились серьезнее, чем починка зубов. Пришлось полежать и в больницах, и на операционном столе; и с годами я все отчетливей воспринимал свое тело именно как износившуюся, всю в заплатах и складках, одежду. Но не выбрасывать же ее: хоть она устарела и вышла из моды и уже как-то неловко в ней выйти на люди – раздеться, к примеру, на пляже в компании юных атлетов, – да и починка ее, этой старой одежды, занимает все больше нервов, времени, сил. Нет уж, буду донашивать ту одежонку, к которой привык, все швы, и рубцы, и заплаты которой мне так знакомы, – и буду, пока есть возможность, ставить новые латки на старую, истрепавшуюся основу…

Ремонт человеческих тел стал моей профессией. Ведь хирургия – это в основном штопка, починка, прочистка того, что в наших телах засорилось, испортилось или прохудилось. И работа хирурга не так уж и отличается от работы сапожника или портного. Что один, что другой вкалывают и продергивают иглы, вяжут узлы, выкраивают и подшивают

заплаты. Что один, что другой, бывает, в сердцах матерятся, когда что-то не ладится; но зато, сделав дело, они могут честно сказать, что их день прожит не зря.

Только хирургу в чем-то полегче, чем сапожнику или портному. Во-первых, его окружает команда помощников: ассистенты, медсестры, анестезиологи, санитарки. А во-вторых, если что-нибудь сделано неидеально – не так лег стежок, или ослаб узел, или случился еще какой-нибудь, как говорится, косяк, – то организм пациента будет сам, изо всех своих сил, пытаться исправить ошибку хирурга. Сосуды будут тромбироваться, грануляции разрастаться, рубцы будут закрывать язвы и стягивать края ран – словом, ремонт пациентом себя самого пойдет полным ходом.

Но если хирургией и вообще медициной – то есть профессиональным ремонтом человеческих тел – занимаются только медики, то косметическим ремонтом самих же себя занята лучшая часть человечества. Посмотрите на женщин – на то, как они, не жалея сил, денег, времени, наводят порядок в собственной внешности. Косметология – это великое множество средств и секретов, методик и способов, ухищрений, диет и приемов, которые позволяют женщинам выглядеть лучше, чем они есть. Что это, как не ремонт? Даже термины косметология применяет строительные: покраска, подтяжка, покрытие лаком, шлифовка.

Но отчего-то усилия женщины выглядеть лучше почти никогда и никто не считает обманом; напротив, в таком улучшении собственной внешности многим – и мне в том числе – видится некое даже движение к истине, выявление той женской сути, прекрасной и вечно влекущей, которая заключена в неизбежно стареющем, вянущем теле. Я куда больше готов восхищаться не юной, еще без намеков на увядание, красотой – но красотой, уже как бы вступившей в жестокую схватку со временем. Разве рекламно-глянцевая улыбка молодости, во все ее тридцать два ослепительных зуба, сравнится с печальной и мудрой улыбкой любившей, страдавшей, терпевшей и многое вынесшей женщины?

Поэтому то, что американцы называют make up – женский труд над собственной внешностью, – вызывает во мне лишь сочувствие и восхищение. Сколько грусти и красоты в лице женщины, что садится у зеркала, открывает коробочку с какой-нибудь мазью и, взглянув на свое отражение – непременно при этом вздохнув, – окунает подушечки пальцев в заветное снадобье, и начинает втирать его в лоб, подглазья и щеки… Во что она смотрит сейчас с такой напряженной тревогой? Не в свою ли грядущую старость, черты и гримасы которой уже проступают в морщинах и складках ее пока почти молодого лица? И еще слава богу, если наша красавица замужем, если у нее есть, скажем, дочь, которой она передаст, как бы на сохранение, часть своей молодости и красоты. А если она одинока? Как непросто тогда ей дается такой ежедневный ремонт – эта горькая и обреченная схватка со временем…

Не в способности ли к саморемонту заключается и сама сущность жизни? Живое остается живым, пока само себя починяет, пока способно латать те прорехи и раны, что непрерывно наносит живому жестокий, его окружающий, мир.

Взять хоть простейших: ведь их жизнь состоит в размножении, в поисках пищи – и в постоянном ремонте самих же себя. Раны их оболочек затягиваются, вакуоли переваривают занозы, вонзившиеся в какую-нибудь амебу, а непереваренные остатки выбрасываются наружу – точь-в-точь как строительный мусор, который мы с вами выносим во время ремонта квартиры. Все, что живет – и покуда живет, – само себя чинит, латает и штопает; стоит прервать непрерывное усилие самовосстановления – как начинается неудержимое скольжение к смерти. Мы только что помянули амебу; но и любая живая структура подвержена тем же всеобщим законам ремонта. Взять хоть отдельного человека, хоть город, хоть целое государство – чем все они заняты, как не бесконечным ремонтом?

Пройдитесь по городу, где вы живете, и посмотрите, чем живет он. Вы увидите строительные леса и разрытые теплотрассы, дорожных теток в оранжевых куртках возле дымящихся гор асфальта (правда, родных наших теток сменили теперь азиаты), увидите штукатуров и дворников, аварийщиков и полицейских – вы увидите многое, говорящее о непрерывном усилии городского ремонта. А если вы не увидите этого – значит, с городом вашим что-то не то, значит, в нем недостаточно сил и энергии, чтоб защищать себя от непрерывного и неизбежного самораспада.

А если взять целое государство – тот же, в сущности, город, лишь очень разросшийся, – то и в нем мы увидим все то же самое. Укрепление границ и дорог, наведение мостов, орошение и осушение земель, сбор отходов, тушение пожаров – что это, как не стремление удержать хоть какой-то порядок и не допустить наступления «мерзости запустения»?

Но скажем и самое, может быть, главное: ремонтом и нас, и всего бытия занят Отец наш небесный.

Казалось бы: если мир, сотворенный Им, оказался испорчен, то не лучше ли весь этот падший мир уничтожить и взамен его создать новый? Но отчего-то Господь, при Его всемогуществе, не устраняет испорченный мир, а идет на великую жертву, чтобы его «починить»: Он посылает к нам, людям, любимого Сына, посылает на муки и смерть – и все ради того, чтоб исправить людскую природу.

Христианство, в лоне которого мы рождены и в свете которого существуем, направлено именно на ремонт человеческих душ, на заживление ран, нанесенных грехом, и на восстановление целокупного, богоподобного существа человека. В этом смысле любой христианский храм – мастерская, где идет кропотливый ремонт человека. Не отбросить негодное, падшее – а исцелить и утешить, исправить и поддержать: вот в чем задача «ремонтных» работ, составляющих суть христианства. Deus conservat omnia – «Бог сохраняет все» – как отличается этот христианский девиз от привычек и устремлений современной нам с вами, все более «одноразовой», жизни!

Не забудем и то, что в конце времен, когда труба позовет всех на Суд – когда случится то самое «воскресение мертвых», о котором христиане молятся на литургии, произнося «Символ веры», – тогда совершится и самый последний «ремонт»: произойдет очищение существа человека от всего временно-несовершенного, темно-греховного, ото всего, что нас отделяло от Бога. Но теперь, находясь в состоянии «неисправном» и падшем, нам трудно даже представить масштаб предстоящих – уже за пределами этого мира – «ремонтных» работ.

Уверены мы с вами можем быть только в одном: раз Господь до сих пор не выбросил нас с вами на свалку – не исторг «во тьму внешнюю», раз Он не оставил попыток нас, грешных, исправить, – то негоже и нам прерывать бесконечный ремонт, составляющий суть нашей жизни. Ведь всякий ремонт – даже если это всего лишь починка штанов – хоть на малую и незаметную долю, но приобщает нас к божьему замыслу по сохранению и преображению целого мира.

ДОМ КЛАВДИИ

АННА ВАРТИК
Журналист. Родилась в Архангельской области. Окончила журфак Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова, училась в магистратуре на факультете литературного образования. Публиковалась в журнале «Нижний Новгород».

1.

Каждый раз, переступая босой ногой с уютного дерева сеней на стылый камень крыльца, бабка Клавдия съеживалась. Пожеванные губы старухи сводила едкая горечь: «Пошто Ванька мне на старость тако сотворил, шольное-то молодь, попустить бы яво!»

«Шольное молодь» Иван Степанович, пятидесяти двух лет от роду, выглядывал из-за куста красной смородины, поправлял сползающие с отвисшего пуза портки, расплывался в снисходительной улыбке, махал бабке рукой: «Да ну тебя, не угодишь!» – и снова скрывался в густых, богато обсыпанных мелкими алыми ягодами зарослях. Несколько месяцев назад Иван с сыном Игнатом снесли в родительском доме сгнившее деревянное крыльцо и залили новое, шлакобетонное, выложив стройные каменные ступени.

Переживший не одну народную войну и семейную бурю родительский дом изрядно покосился. В последние годы Клавдия ползком слезала по развалинам крыльца. С той самой зимы, когда проклятые перила поломались под бабкиной тяжестью и та прокатилась по беззубым ступеням, поломав шейку бедра, которая чудом на девятом Клавдийкином десятке зажила, старушка уже не доверяла крыльцу, по которому в юности сбегала вприпрыжку, помахивая цветастым платочком, к очередному кавалеру, прятавшемуся от строгого папаши за баней.

Их, кавалеров-то, у Клавдии в молодости было много. Причмокивая чайком, она любила об этом хвастать внукам, правнукам и праправнучке. Первого кавалера волки загрызли, второй в картофельной яме задохнулся, третьего Клавин отец – Аркадий – вилами чуть не заколол («обрюхатил ведь меня, ирод, да в лесах канул»).

Клавдийкин отец вскоре тоже помер – лошадь взбесилась, протащила его через все поле, ноги до кости разодрала, раздробила. Долго Аркадий мучился в бреду, местный лекаришка только руками разводил и ждал доктора из города. Тот приехал через неделю ранним утром, когда мать Клавки с причитаниями «ох, Аркашка, Аркашка» уже омывала покойного.

Замуж семнадцатилетняя Клавдия выходила с пузом за первого же встречного, которого мать («прости господи, шальная баба была») приволокла за шкирку, когда тот яблоки в саду воровал. «Хоть какой да мужик в доме будет!» – так и отрезала.

Парень оказался сиротой, неприхотливым, чумазым и безграмотным, но работящим и добрым. И если бы не война, разлучившая молодых, может быть, и слюбилось.

Степан родился через два месяца после первой бомбежки. Забота о новорожденном легла на плечи

Клавдийкиной матери, пока сама Клавка трудилась в полях, зарабатывая на хлеб тяжелым, совсем не женским трудом. Что, кстати, не мешало ей вскармливать сына грудью – на мамкином молоке Степка рос почти до шести лет. Присасывался к матери ночами напролет, а став постарше, прибегал к ней и в поле: «Ма-а-а, сисю-то дай».

– Ну и бычок растет, – хохотали товарки. – Смотри, Клашка, он тебя так всю высосет! А потом и к бутылочке так же прикладываться будет!

Между тем парнем Степан вышел крепким, спокойным, забот особых не доставлял – учился исправно, колхозу помогал, бабке с матерью был во всем надеждой и опорой. Окончив школу, поступил в техникум на слесаря, потом в армии выучился на автомеханика и по возвращении домой стал председателю первым подспорьем. Везде Степка на виду и в заслугах ходил – и в полях он, и в клубе, и на стройке, и на целине.

В двадцать шесть лет Степан неожиданно для родных привел в дом невесту. То есть как – неожиданно. На самом деле с Лидией его судьба сводила трижды: в учебные годы знакомство состоялось во время работ по уборке кукурузы, девушка тогда приехала из соседних краев к теткам-вдовам в подмогу; потом повстречал он Лидию во время армейской побывки в городе, они с парнями впервые фонтан видели и девушек разглядывали, «подбирая» каждый под себя невесту. Степан сразу Лиду вспомнил, хотел подойти, дать знать, но увидев, как она за ручки прижимается (как тогда Степке увиделось) с командиром части, вместо приветствия кинул в девушку абрикосовой косточкой, чем и заслужил месячные штрафные работы в армейском сортире.

Третья встреча случилась уже годами позже. Степа повзрослел, возмужал, обрел статус, а он был уверен, что статус его – помощника председателя – весьма и весьма значимый. Да и о женском роде Степка уже разумел, что оно такое и какой подход к нему надо иметь. Приехав в город по председательским делам, Степан зашел вечером в клуб и увидел ее – странновато одетую, в каких-то древних кринолинах, смеющуюся, косами своими темными размахивающую. Спустя два дня Степа возвращался домой с невестой.

Клавдия к Лидии отнеслась прохладно. Жизненного опыта в роли невестки не имела, поэтому девушку приняла как гостью – не самую долгожданную, но в любом случае уважаемую. Молодые быстро друг к другу притерлись, в тот же год Лида родила Степану сына – Иван-то и стал главной отдушиной в жизни Клавдии. Когда мальчику исполнилось три года, Лидия забеременела во второй раз. Времена были тяжелые, работу женщина не бросала – ходила в здравпункт в соседнее село пешком за десять километров. Помогала фельдшеру, училась медицине, надеялась, что однажды и сама науку освоит, получит образование и будет лечить людей.

В ту зиму мороз стоял крепкий. Лида живот опоясывала шерстяным серым колючим платком и ранним утром отправлялась на работу, по холоду в потемках добираясь до фельдшерского пункта. В один из таких дней по пути в голове у нее что-то помутилось, вокруг все закружилось, Лидия упала в снег и пролежала без сознания три часа, пока местные не отыскали ее, почти полностью заметенную, в сугробе.

Спасали Лиду врачи в городе, куда председатель лично увозил ее на своей машине. Вместе с ребенком Степкина жена потеряла ухо, обе стопы, пальцы на правой руке и способность к деторождению. Правая сторона лица у нее была обезображена в результате обморожения. В больницах Лида провела целый год, за это время Иванушка успел подзабыть мать, и когда ее привезли домой – растерянную, отвыкшую от родных, грустную и молчаливую – опускал взгляд, косился на перевязанные ноги странной тетки и все сильнее жался к мамке Клаше.

Клавдия жалела Лидию отстраненно, словно горе случилось не в их семье, не с матерью ее единственного внука, а с посторонним человеком из чужого села: жалко, горько, но, что уж там, со всяким может случиться, надо дальше жить. Лида первое время почти ни с кем не разговаривала, к сыну, до этого столь горячо любимому, относилась по-доброму, но не ласково, отчужденно. Все больше времени проводила, разминая руку и сидя у окна, – смотрела куда-то вдаль, в сторону леса, не то вспоминая что-то, не то мечтая. Клавдия качала головой, но ничего не говорила, понимая, что помощницы теперь у нее нет.

Один только Степан радовался, что жена вернулась домой. Он словно и не замечал, что Лида теперь калека и что горе в ее сердце никто ни понять, ни унять не сможет. Первое время Степка к супруге с шутками подходил, заигрывал, пытался развеселить, мол, ну что ты, живем ведь, посмотри, сколько прекрасного вокруг. Потом понял, что дело темное. Лидия от мужа отворачивалась и снова в окно пялилась. Степан пробовал жену подарками одаривать: то брошку привезет, то пряник, то платок шелковый, дефицитный. Лидия улыбалась ле-

Малышня полюбила обезображенную, но добрую «бабку Лидку», как стала ребятня ее простодушно величать, не догадываясь, что Лидия еще совсем молодая женщина.

вым краем рта, так что все лицо ее перекашивало, и Степан невольно вздрагивал. Бросив постепенно все попытки вернуть прежнюю жизнь, Степка ударился в работу.

Проходило время, Клавдия продолжала заботиться о своих мужичках, держала весь дом на себе. Иванушка пошел в школу, здоровый и активный парнишка, он хорошо учился и считал за мамку обеих женщин. Степан стал председателем, вступил в партию, занимался общественной работой, все чаще разъезжал по соседним колхозам.

Выправилась, как могла, и Лидия. У окна часами она сидеть перестала, приспособилась готовить обеды, увлеклась чтением, собирала вокруг себя детсадовских ребятишек и рассказывала им сказки. Малышня полюбила обезображенную, но добрую «бабку Лидку», как стала ребятня ее простодушно величать, не догадываясь, что Лидия еще совсем молодая женщина. Периодически некоторые мамаши стали приводить не пристроенных детей в дом к Лидии, чтобы та нянчилась с ними, пока взрослые на работе.

Так и шли дни, текла жизнь, словно ручей, пробираясь сквозь буераки, протачивая камни и вымывая земли, где-то суживаясь до тонюсенькой полоски, практически исчезая, а потом снова набирая силу, вздымаясь и бурля над порогами, спадая водопадами с холмов и вновь сходя на нет.

2.

«Ну вот пошто мне дед твой таку пакость сделал?» – не унималась Клавдия. Ворча и бубня под нос проклятия, она ковыляла к веранде, поставленной Степаном двадцать лет назад на откосе между баней и домом. От веранды к бане стелились деревянные мостки, петлявшие между грядами с редькой и картошкой, огибающие теплицы и большой чан с водой для полива. Когда Иван с Игнатом поставили новое каменное крыльцо и хотели приступать к кривым деревянным помостам, Клавдия чуть ли не костями на них легла: «Не пущу! Ищь! Супротив меня! Шольные! Нукось вас к чортям собачьим!» Опасаясь, как бы бабка не сбрендила, мужики плюнули на это дело: «А ну тебя, сама же еле ковыляешь по этой рухляди!»

У бани, топившейся по-черному, красовался аккуратный синий домик с расписными птицами на крыше, в котором прятался колодец. Много лет назад, когда колодец внезапно стал мельчать, мельчать, так что почти обмелел, Степка позвал в помощь соседа, чтобы углубить, вернуть воду. Самодельным грейфером черпал глиняно-песчаную смесь, ругался, обвязываясь канатами, задыхался на дне, но веры не терял. Понимая тщетность происходящего, но жалея соседа, напарник Степки то и дело намекал: участок-то вон какой большой, давай, мол, поищем другой источник, хоть скважину пробьем. Но Степан привык добиваться своего, припоминал упорную любовь к молодой Лиде, и снова спускался на дно, вооружившись лопатами и ведрами.

Неизвестно, сколько времени провел бы Степан в колодце и чем это завершилось, если бы не беда. Лидия, хворавшая уже несколько месяцев, умерла. В считаные дни она иссохла, отказалась от еды, скрестила руки на впалой груди и лежала практически неподвижно. Как когда-то давно: посиневшая и замерзшая. Степка ухаживал за женой сам, обмывал, смазывал пролежни, переворачивал, разговаривал, привозил врачей, но, встретившись однажды с пристальным Лидийкиным взглядом, понял, что свет этой жизни потух много лет назад, замерз в заметенных, схваченных морозом лесах, припорошен и давно покоится с миром. Лидийку оплакали и похоронили, а вода в колодец вернулась следующей же весной…

«Глянь, Олька, чаво дед с батькой твоим сотворили – не изба, а царицыны хоромы теперь у меня!» – Клавдия смахнула бремя воспоминаний, кивнула светленькой девчушке, игравшей возле веранды, и рассмеялась. Пятилетняя Олюшка захихикала в тон прапрабабушке, особенно не вникая, доверяя отцовым словам о том, что бабу Клашу надо просто всегда слушаться и любить. Все лето праправнучка гостила у Клавдии, пока родители-археологи искали памятники истории в горах Урала.

Сын Ивана, Игнат, женился рано, студентом, на своей сокурснице Насте. Женились, что называется, по залету, но жили дружно и даже счастливо. Дочь Ольгу воспитывали сами, по очереди бегали в детский сад, нянчились, выстраивали быт, и все у них получалось легко и гладко. Настя на год, не раздумывая, взяла декретный отпуск в университете, поэтому Игнат получил образование раньше, устроился работать на свою же кафедру, чем значительно облегчил получение диплома и жене.

Когда Ольге исполнилось пять лет, супруги решили вместе выехать на археологические раскопки – воплотить давнюю мечту Игната прикоснуться к настоящей истории. И прикасались к ней уже второй месяц, исправно присылая родным телеграммы и обещая вернуться не позднее, чем бабье лето отцветет. Клавдия хоть и любила правнука всей душой, и жена его была ей очень мила, но возвращением молодых особенно не грезила – очень уж славно ощущала она себя рядом с Иваном да Ольгой.

Летние дни у семьи проходили незатейливо. Иван каждое утро встречал по привычке, зародившейся еще в детстве, – с первыми же петухами бежал трусцой до речки, делал заплыв и также трусцой возвращался к дому. На эту утреннюю процедуру у него уходило от силы минут пятнадцать, зато потом весь день он проводил в бодром и благостном расположении духа. Бабка Клавдия, редко ощущавшая в себе признаки, похожие на чувство радости бытия, традиционно бурчала, заслышал счастливое Ванькино посвистывание: «И чему дурак радуется, тьфу ты прости ж оспади!»

Иван не обижался, любил и бабку, и весь мир вокруг себя бесхитростно, добро и открыто – в действительности точно так, как любят дураки. После купания, мыча мотивы задорной песенки «Проснись и пой», готовил завтрак, каждый раз придумывая для Ольги игривость – то кашу с глазами-ягодками и арбузной улыбкой, то оладушки в виде мордочки рыжего кота, то яичницу-сердечко.

Ольга обожала деда, тянулась к нему, стараясь всегда быть где-то рядом, в зоне видимости и досягаемости. Весь ее день словно был посвящен ему, если игры – главный герой обязательно дед, если рисование – первым делом рисунок деду показать. С дедом гулять, играть, обедать, рыбу ловить, грибы собирать, сказки читать. Клавдия радовалась этой идиллии и тому, что на ее старые кости не повесили всю заботу о ребенке, и тому, что девчушка растет славной и умной. В свои пять Ольга прекрасно читала и считала, и мать планировала на год раньше положенного отдать ее в первый класс.

Если Иван весь день был занят хозяйством и внучкой, то Клавдия считала своим ежедневным долгом печь хлеб и топить баню. Правда, на баню у нее со временем сил практически не осталось, поэтому Ваня проводил подготовку: качал насосом воду в бочки, убирал золу, готовил дрова, закладывал их в печь, не забыв подложить березовой коры и вчерашних газет, чтобы огонь быстрей схватился. Бабке оставалось только доковылять до бани, не забыв обругать внука за мостки, чиркнуть спичкой, «обласкав» за сырость и неправильно сложенные поленья, да постоять, подбоченясь, возле бани, глядя, как Иван с Ольгой дерут мокрицу для кур: «Ну-ну, коренья-то обрывайте, пошто ленитесь-то, куда уж курам коренья-то, да в земле не оставляйте, ну, удумали!»

Одно правда, что хлеб Клавдия пекла уж исключительно сама. Хороший хлеб, пышный, на опаре, как мать учила, – с хрустящей корочкой и белым мякишем, славно скатывающимся в ладони, что особенно любил Ванька. Скатает колобочек – и в суп его, да смотрит, пока комочек намокнет и расправится, набухнет, точно губка, а уж потом только съедает. Вкусно.

А Ольга над корочкой изгаляется – мякиш выгрызет, чтобы лодочка получилась, и пускает ее в дальнее плавание, картофелины в супе с одного берега тарелки на другой перевозить. А бывает еще бой: лупят ядра – мякишевые колобки из Ивановой тарелки – по хлебной Олькиной лодке, только макароны в разные стороны разлетаются. Иван с Ольгой в голос смеются, Клавдия злится, полотенцем машет, порой да как подшлепнет, что все в кухне брякает, летит куда-то, а расшалившиеся еще сильней потешаются над этой бабкиной неумелой строгостью.

«Ух, шалопаи, будет вам в иной раз хлебушек!» – грозится Клавдия, а сама уже отходит, глаза смеются, рукой отмахивается и идет георгины возле веранды поливать.

3.

Временами на сознание Клавдии опускался туман. Сядет она, бывает, на крыльцо с вязанием, петли провязывает, пришептывая «изнаночная, накид, лицевая, лицевая, изнаночная», да и зачудится вдруг. Вот Степка бежит, рот черничный, опять у матери все ягоды съел, что она на варенье насобирала, – «Ну, гляди, сейчас узнает, будет тебе, Степаша!».

То вдруг почудится, что Лидия кричит из сеней, детей зовет, собирайтесь, мол, пора обедать.

Годами живешь
с непоколебимой верой,
что складывается он
в идеальную картинку,
пока однажды секундное
дело, мысль, слово –
и вот оно что,
оказывается: думал,
яблоневый сад собираешь,
а судьбой тебе пустынный
мираж уготован был.

«Да с чего же это она кричать будет? И не кричала-то ведь никогда, земля ей пухом заснеженным», – сплюнет Клавдия и снова считает свои петельки. Ольке на зиму шапка будет, с рукавицами и шарфом, ярко-синие в белый рубчик. Синяя пряжа с Ванькиного свитера пошла, а белую бабке Игнат привез из города.

Игнат вообще много всего Клавдии привозил. Если Иван Степанович старуху баловал работой и заботой, то Игнат Иванович – подарками. Умел их подбирать всегда так, чтобы Клавдии и нравились, и в быту пригождались. Игнат сообразил поменять две из трех печей в доме на тепловой котел, радиаторы устанавливали рабочие, которых он сам и привез из города. Дров теперь нужно было запасать гораздо меньше, хлопот по растопке не было никаких, а большую русскую печь затапливали, только если бабке приспичит кости погреть или шанег напечь.

Потом Игнат придумал сделать систему водоснабжения – в колодец установили насос, подвели трубы к дому и шланги – к бане. Клавдия первое время охала от гудящих звуков, издающихся в подполе, крестилась и смотрела, как завораживающе вода бежит из крана, который, конечно, тоже привез Игнат.

Но и это не стало пределом восторгу и удивлениям Клавдии. Самым настоящим чудом для нее оказался водонагреватель, который родные долго и шумно устанавливали в подвале – чтобы вода не только могла бежать прямо в дом, но чтобы она еще и теплая была. К бойлеру старуха так и не смогла привыкнуть, да и забывала все время переключать кнопку для нагрева и по-прежнему пользовалась холодянкой. Да и где это видано – 90 лет носить воду, стирать тряпки и умываться по утрам из ковша свежей колодезной водой, а тут на тебе, бабушка, водопровод.

Клавдия ухмыльнулась, обтерла тыльной стороной руки беззубый рот («пасть свою», как сама, смеясь, называла вставную челюсть, давно забросила, впихивала в рот редко, с трудом, чаще она болталась в высоком граненом стакане на верхнем приступке у печки) и снова начала считать: «Лицевая, изнаночная…»

А еще стала она за собой замечать: воспоминания – точно и не воспоминания вовсе. Словно жизнь заново мелькает. Вот маленькая Клаша, все в точности до деталей встает в памяти – в калошах за матерью в поле бежит, платочком машет. А вот и батя – папиросу жует, черный чуб ежеминутно головой потряхивает. Степь помнится, туман, перекати-поле, целина…

Провязывает Клавдия петельки, а перед глазами все вращается: и огонь, и голод, и два огромных куска сахара, полученных от солдата («Так ли запомнила? Да за что? А бог его знает теперь, не помню»).

– Во-о-от такие! – приставляет старуха один кулак к другому, поднимая руки, точно в молитве, и показывает в пустоту невидимому собеседнику. Вязание падает на колени, Клавдия замирает. – Нет, не помню, за что, – мотает головой. Снова протирает рот и возвращается к шапке.

Странное дело, из воспоминаний убегают детали последних десятилетий. Нет-нет да и забудет старуха, что за девчонка бегает вокруг нее. Соседская, что ли? Или к Лидии опять пришла?

А то и вовсе. Смотрит на Игната – «Степка, а ну давай быстро обряжаться! Зойка не доена!». Постоит, постоит, руками за голову схватится, да и заплачет – нет уже Степки-то ее, десять лет как нет. Одно только воспоминание душу изматывает: сидит Степан на крыльце, под глазами мешки, бледный, руку к груди прижимает, лицо перекошено, да сказать-то ничего не может, а вокруг черным-черно от ягод рассыпанных, которые Степка, как жена когда-то, собрал для варенья.

– Степан, Степан, что ты?!

Молчит Степан, навсегда молчит. Оседает на деревянное крыльцо, клонится на бок и заваливает-

ся – как дерево срубленное: грузно, тяжело. Старые ступени скрипят, недовольные этой мертвой тяжестью, и тоже клонятся.

Странная штука – жизненный пазл. Годами живешь с непоколебимой верой, что складывается он в идеальную картинку, пока однажды секундное дело, мысль, слово – и вот оно что, оказывается: думал, яблоневый сад собираешь, а судьбой тебе пустынный мираж уготован был.

4.

Клавдия сколько себя помнит – всегда была бабой бойкой и предприимчивой. Эта черта досталась ей от матери, с которой Клава была прочно связана невидимыми родственными нитями, коими в то же время тяготилась. Любила мать крепко и чуралась этого, гнала прочь любые проявления нежности. Не принято было.

Мать умерла рано, едва дожив до пятидесяти. Плакать по этому поводу Клавдия начала многими годами позже, когда жизнь вышла на колею ровную, по крайней мере, как об этом могла судить сама Клава. Степка женился, корова давала добрые надои, теленка не забрал колхоз, поросят двоих зарезали, поле вспахали. А главное, конечно, мир был на земле. Клавдия старалась не вспоминать о войне, укравшей мужчин, здоровье, время.

«Было да прошло, надо ли бередить», – рассуждала Клавдия, кутаясь в мамину старую шаль. Вспоминала, что мужики, вернувшись с войны, никогда о тех событиях вслух не говорили. Кто расспрашивал – отшучивались как могли или вовсе молчали. Стопку нальют, кивнут друг другу понимающе, выпьют и снова молчат.

Промелькнет еще в Клавдийкиной памяти – степь, метет со всех сторон, ветер завывает. Огни, огонь. Немцы дома обчищают, смеются громко, поджигают... Да, жила бы мама еще, да оставлены все ее годы там, в огне, голоде, холоде, горьких страданиях по братьям, мужу, сыновьям, дочери Клавдийке, в два года умершей от кори.

Клавдия знала, что ее назвали в честь погибшей сестры. «Ее хоронить, а тебя кстить», – рассказывала мать. Так уж вышло. Девочке было несколько дней, когда маленькая Клавдийка померла. В семье не стали рассуждать, братья решили – привыкли, мол, к Клавдии, так малую, значит, и будут звать.

– Вот и живу теперь за двоих, долго, тяжело, да ничего. Степку с Ванькой подняла и тебя тоже подыму. – Бабка потрепала Ольгу за косичку.

Хорошая девчонка Олька. Клавдии она нравилась, чувствовалась родня, черты их, Игнаткины, даже нет, Степкины больше черты, не Настины никак.

По матери Клавдия тосковала в самые неожиданные минуты. Решила как-то кустарник ирги огородить или пересадить в дальний угол участка. Опасалась, что Степан повредит. Он тогда искал воду, чтобы скважину пробить, делал раскопки то в одном, то в другом месте, скрещивал две проволоки, водил ими над землей, вышагивал по огороду, как Дон Кихот, перетоптал все анютины глазки, делал такое серьезное лицо, что Клавдия прыскала со смеху, шершавыми пальцами терла глаза и хваталась за бок от смеховых колик.

Куст ирги был добротный, урожайный, и хотя ягоду эту, кроме Клавдии, никто больше в семье не ел, она относилась к нему с особенной заботой. Его высаживала мать Клавы, это был самый первый плодоносящий кустарник, появившийся на пустом участке, который выделили семье невообразимо какими страданиями Клавдийкиной матери. Соседка до конца жизни после этого обходила семейство стороной, все ей чудились в материной предприимчивости и напористости вражеские происки.

Ирга весной пышно и красиво цвела мелкой белой россыпью, а к концу июня начинала щедро розоветь, к июлю ягоды набухали, становились почти черными и прекрасно сладкими. Клавдия любила их в любом виде, каждый раз удивляясь, отчего это ирге ничего с годами не делается, отчего ягод не становится меньше и отчего это она, бабка древняя, никак не перестанет их любить.

Больше всего теперь, когда старческие переломанные кости отказывали, Клавдия любила расположиться под кустом, облокотившись на угол дома, нагрести в кулак ирги, причмокивать и наблюдать, как сверху жадные птицы клюют ягоды и те с брызгами разлетаются в разные стороны. Ничего завораживающего. Гадкие птицы жрали любимую бабкину ягоду, а у той вызывало это странное умиление и теплые воспоминания. Вот сидят они с матерью также на приступке, едят иргу, гоняют птиц, и слушает Клаша фантастические истории от матери – безумные, местами совершенно пугающие, но такие удивительные, что девочка сидит завороженно, не шелохнувшись.

Больше всего Клаве запомнилась история про длинную полосатую змею, напоминающую солитера, которая заползала спящей девочке в рот и жила у нее в животе, пока та целый день бегала, играла – жила своей обычной девчачьей жизнью. Но стоило этой девочке лечь спать, как рот ее открывался,

змея выползала и начинала подъедать все запасы в доме. С первыми же петухами змея возвращалась в свой дом-живот, и все повторялось снова и снова ночь за ночью, день за днем.

Клавдия в красках воображала свои видения, сама же их и боялась. По старой коже бежали мурашки – такие же старые, как и сама она. Могут ведь мурашки быть старыми, если они бегают по старой бабкиной коже? Бабки-мурашки. Клавдия засмеялась над своими мыслями и сорвала еще кулак ирги, оборвала вместе с листьями и ветками, сжала жадно, так, что некоторые ягоды расплющились, алый сок покатился по сморщенной Клавдийкиной ладони к запястью, затем ниже к скукоженному старостью локтю и стал капать на землю крупными кровяными каплями. Клавдия смотрела на них, и слезы катились по ее впалым старческим щекам.

5.

Дом Клавдии стоял на высоком берегу реки, из маленьких оконцев с резными наличниками в разные стороны разбегалась деревня – вся как на ладони. Широко по побережью рассыпало разноцветные домики. По деревне бежали песчаные дорожки, участочки разбивались всеми формами и фигурами, при каждом доме топились печи и бани, пахло парным молоком и свежими кулебяками.

С угора берег казался маленьким, а река – бескрайней. Лес вылезал из-за дальних холмов густыми начесами, то зеленея, то краснея, то чернея вдали. По берегу рыбаки тянули сети, старый Семен гнал коров на пастбище, соседская девчонка бежала на полоскалку к товаркам.

Река вздымалась весной, журчала летом и осенью, к зиме замирала. К пристани прибегали теплоходы и катерки, с мая привозили ребятню к старикам на летние каникулы. Деревня жила, и Клавдия ее любила. Сколько раз молодежь уговаривала бабку уехать в город, оставить дом, продать, бросить совсем или возвращаться на лето. Но Клавдия не могла. Окидывала взглядом свои владения – и в тоске отмахивалась. «Ну нет, сей год надо проредить смородину да баню справить, а там уж видно будет», – находила очередную отговорку и успокаивалась.

Кусты красной и черной смородины богато поросли по периметру всего участка вдоль забора. Живая изгородь начиналась с угора, от самого дома, и спускалась ниже и ниже, мимо летней веранды к бане и задней калитке, которая выходила на дорогу у реки. Узкая грунтовка, по которой проезжали к пристани, отделяла Клавдийкин участок от топких заберегов, густо поросших где кувшинками и камышами, где ивняком. Грунтовка огибала топкое место, делала небольшой крюк и выходила на песчано-каменистый широкий берег.

Чтобы сократить путь до реки, Степан сколотил деревянный настил через болотце, поставил округлые мостики там, где места были особенно топкие. Весной этот путь сильно топило, часто вода закрывала дорогу, иногда доходила до бани. Даже в самые сухие времена выйти на мостки можно было разве что к июлю. Деревянные настилы со временем от бесконечных иловых вод стали коричневато-зелеными, скользкими и отдающими болотиной, но пройти по ним до реки все же было можно, при этом сократив путь практически вдвое. Степан гордился своей едва заметной тропой в ивняке, хотя в основном народ предпочитал ходить окольными путями, избегая если не топких мест, то жуткого комарья и клещей в кустах.

Клавдийкин участок с трех сторон был огорожен высоким – выше человеческого роста – забором, окрашенным в яркий синий цвет. Когда свои возвращались из города в деревню – хоть рекой, хоть дорогой – первым делом примечали синие тучи забора и алый маяк крыши. С четвертой стороны, по переду, ровно стояли треугольные наконечники низенького забора, упирающегося с одной стороны в дровяник, с другой – в расписную избушку колодца, переодетого Иваном с сыном из деревянного прогнившего бруса в железобетонные и полимерные кольца.

Сам дом был окрашен в зеленый цвет, крыльцо отливало коричневато-оранжевым – в те времена, когда оно еще было деревянным и Клавдийка сбегала по нему вприпрыжку, помахивая цветастым платочком, теперь же, в свои новые времена, ступени бликовали серыми оттенками.

Краска на доме выгорала, облупливалась мелкими чешуйками по верху дома и крупными – по низу. Местами цвет был совсем потерян, узнаваемый окрас сохранился только в самых укрытых местах, например, за крупными стволами яблони или кустами черемухи, разросшейся так, что ветви ее практически обнимали половину дома, затемняя комнату, где спала бабка, и давно не используемую поветь.

Клавдия обновляла цвет нечасто, последний раз дом красили перед десятилетием Игнатки. Красили дружно, семейным подрядом. Руководила процессом Маруся – не просто бойкая, статная, яркая женщина, подарившая Клавдии любимого правнука, но больше того – невестка, заменившая бабке дочь

– Это будет цвет влюбленной жабы, – смеялась Маруся в ответ на возражения бабки. – Под крышей сделаем цвет гусеницы, а наличники останутся белыми – ну кр-р-асота-а ведь ка-ка-я!

и на годы ставшая ей главной помощницей, душой и силой всей семьи.

Тогда из привычного «лесного зеленого» дом впервые перекрасили, изменив оттенок на более светлый.

– Это будет цвет влюбленной жабы, – смеялась Маруся в ответ на возражения бабки. – Под крышей сделаем цвет гусеницы, а наличники останутся белыми – ну кр-р-асота-а ведь ка-ка-я!

Маруся любила делить слова на слоги, как бы подчеркивая их важность, при этом смысл и интонация не всегда совпадали. Жена Ивана работала в сельской школе учительницей русского языка и литературы, держала на классном руководстве самый сложный класс, умудрялась вести внеурочную деятельность – таскала «своих тунеядцев» по всем мыслимым и немыслимым мероприятиям, да еще и руководила семейной жизнью.

Иван, находившийся в состоянии безумной влюбленности и восхищения женой, к покраске дома отнесся с обреченным согласием.

– Мань, ну, может, это, ну его на фиг, столько ведь мороки с этой перекраской, а, Мань, – подростково ныл, но послушно полз на лестницу с крупнозерновой наждачной бумагой, сдирая перчатки и кожу на руках шлифовкой старого покрытия.

Пока Клавдия ворчала, а Иван вздыхал, энергичный Степан с энтузиазмом подключился к перекраске дома. Суетливо бегал, подбирая кисти, советовался с Марусей по поводу того, правильно ли будет снять наличники перед покраской, смешивал эмаль и удалял лишние подтеки уайт-спиритом. Игнат в это время носился с игрушечной саблей вокруг дома, лупил лопухи и рубил крапиву, Маруся, подвязав волосы хлопковым платком, весело пела за покраской, а Клавдия наигранно и непрестанно охала.

За неделю дом привели в порядок, он стал казаться выше и современней, гармоничней вписывался в синий забор, кричавший всем людям на другом берегу, что вот здесь, да-да, именно здесь живет то, что все так долго и не в том месте ищут – любовь и счастье.

6.

Иван с Марусей познакомились на свадьбе: лучший Ванькин друг женился на старшей Марусиной сестре. Робкий и тихий, он тайком поглядывал на Марью, восхищаясь ее красотой, грацией и – больше всего! – энергией. Девушка заводила гостей в танец, устраивала конкурсы, организовала «похищение» и «выкуп» невесты. Смелая, нарядная, грациозная, Марья кружила в танце то с одним, то с другим кавалером, громко смеялась, и, казалось, ни одно обстоятельство не могло ввести ее в смущение.

Другое дело Иван. Даже выпитая водка не помогала раскрепостить его, осмелеть настолько, чтобы просто пригласить девушку на танец. Друзья подтрунивали над смущением парня, веселило это и саму Марусю. Она сразу заметила застенчивого молодого человека, высокого и худощавого, и по тому, как он весь вечер не сводил с нее своих блестящих карих глаз, понимала эту симпатию и всей душой стремилась к ней.

Спустя время, когда уже на свет появился Игнат, Маруся рассказывала о своих волнениях, вспоминала, как к концу сестриной свадьбы переживала, что Ивашка так и не подойдет, так и не скажет ничего, что девушке придется брать инициативу в свои руки, а этого ей совсем не хотелось делать. Нет, она не боялась и не переживала из-за предрассудков, и будь на месте Ивана любой другой парень – подошла бы, не раздумывая. Но тут был иной случай. Маруся своим девичьим сердцем чувствовала, что все с этим парнем будет иначе, только бы Иван сам сделал первый шаг.

Счастье – это смелость. Смелый человек совершает поступки. Берет волю в кулак и делает. Уходит из чужих мест, где мучится незваным гостем, приходит туда, куда зовет его сердце, находит силы на слова, борется за правду и мечту. Может быть, идет вброд или совершает дальний заплыв, прорывается сквозь буреломы или бредет по выжженной пустыне – каким бы долгим и сложным или

быстрым и легким ни был путь смелого человека к своему счастью, он не побоится суеты и не погрязнет в ней.

Иногда для чего-то большого нужен совсем малый шаг, но именно он кажется совершенно невозможным.

Так Маруся романтизировала жизнь, верила в то, что счастье нужно заслужить поступком, и он, этот поступок, у каждого свой. Кому-то предстоит пройти великий путь, свернуть горы и покорить океаны, а для другого это будет один шаг от порога до порога, скромный, вобравший всю силу духа, внешне совершенно никчемный, но такой весомый и значимый, что все, что было раньше, станет мелким и ненужным, перечеркивающим былое и вдыхающим жизнь в будущее.

Может быть, потом, дальше в своей жизни, человек будет побеждать, достигать, влиять, рождать, строить, тяжело и много работать. Но это уже не будет для него таким же большим, как тот самый маленький шаг, сделанный в начале пути не против воли, но по велению своего сердца. На этом пути нельзя мешать, нельзя помогать. Это момент, который определяет, найдет ли человек то, что для него бережно хранит судьба. Заслуживает ли он его?

Иван определенно заслуживал. Шаг к Марусе оказался для него тем самым маленьким большим поступком, изменившим жизнь, а Марья верила, хотела верить, что если он сделает этот шаг, значит, и судьба определена.

Иван подошел к Марусе под конец праздника. В тот момент, когда молодая, прежде чем уйти с супругом в первую брачную ночь, смеясь, повернулась спиной к девчатам, нарядно выстроившимся в полукруг, перекинула через голову свой свадебный букет, и тот, перелетев поверх поднятых ему навстречу рук подружек, приземлился к ногам Ивана. Девушки кинулись к цветам, но Ваня уже прижимал их к себе, улыбался, скромно и тревожно поглядывал на Марусю, в конце концов, собравшись с духом, протянул букет.

Подружки хохотали, гости веселились. Марья с Иваном тоже смеялись, и никто, кроме них самих, не видел за этим озорным смехом совершенный замес чувств и эмоций. Смущение и радость, вера и ожидание, неизвестность и страх, вопросы и восклицания, сомнение и любовь. Тут было юно-зеленое все.

Спустя несколько часов, встречая рассвет на берегу, он слегка касался рукой ее спины меж лопаток, каждым пальцем ощущая под тонким кружевным платьем нежную кожу, едва-едва обнимал, как фарфоровую куколку, словно боясь спугнуть птицу счастья, так неожиданно, незвано и нечаянно (не по ошибке ли?) попавшую в его руки.

7.

Клавдия тосковала. Так бывало, когда воспоминания выводили ее из зарослей молодости, «мутных» Лидийкиных времен или Ивашкиного взросления, огибали время полного беспамятства и возвращали к Марусе. Редко какой человек мог так сильно запасть в бабкину душу. Она приняла девушку в первый же день, когда Иван привел ее знакомить с семьей.

Маруся с порога заявила: «Вот только давайте без шуточек про цветы иван-да-марья, ничего интересного!», чем ошарашила Степана и рассмешила Клавдию. Без кокетства и жеманства Марья запросто пошла помогать на огороде, наравне со всеми пахала землю, не чуралась раскидывать под кусты конский навоз, помогала Клавдии с закрутками, но при всей своей простоте совершенно не казалась деревенщиной.

Бабка восторженно наблюдала, как Маруся что-то усердно пишет вечерами, обложившись книгами, эти часы казались Клавдии такими сокровенными, что она не смела даже шорохом побеспокоить студентку. Сама Клава всегда стремилась к знаниям, когда-то давно училась в школе, радуясь тому, что в стране помогают неграмотным, но учиться дальше не позволила жизнь. К людям науки бабка относилась с пиететом, старалась помалкивать, когда у Маруси с Ваней собирались компании, но всегда прислушивалась к разговорам. Обо всем же самом умном Клавдия узнавала из книг да газет и журналов, которые выписывала пачками.

Сначала молодожены жили на два родовых дома, но когда Марья окончила институт и устроилась в поселковую школу, совсем переехали к Клавдийке. На этом настаивала и сама бабка, она тянулась к энергии, которая кипела в молодежи. Марусиной активности можно было только поражаться. До последнего дня своей беременности она вела уроки в школе, а уже находясь при схватках, успела принять итоговый экзамен у выпускников.

Декретный отпуск у Марьи был недолгим, спустя год она решила отдать мальчишку в ясли и выйти на работу. Клавдии к тому времени было уже за семьдесят, но она активно помогала в воспитании маленького Игнатки и твердо решила, что присматривать за правнуком будет сама.

– Я еще жива и со своими мальчуганами в силах справиться! Думаете, я бабка, из ума выжившая? Ну уж нет! Нечего моему наследнику в яслях делать! – настаивала Клавдия, хотя ей, в общем-то, никто и не перечил.

Маруся отвечала глубокой взаимностью бабке, любила ее как родную, всегда была к ней мягка и терпелива. За время, проведенное в декрете, они сроднились так, будто Марья родилась здесь, в Клавдийкином доме, и жила с ней бок о бок всю жизнь. Они делили заботы «о мальчиках»: самый старший из них, Степан, вставал раньше всех, Клавдия кормила его кашей с брусникой и собирала на работу. Уже около семи утра на своем уазике он уезжал на работу в райцентр, где занимался делами развития поселка, а какими именно – бабка ума не прикладывала.

К тому времени поднимался на пробежку Иван, затем обливался холодной водой, на скорую руку жевал яичницу – кашу на дух не переносил с детства, прыгал на велосипед или на своих двоих бежал на пилораму.

Маленький Игнатка просыпался только к восьми. Маруся его кормила, умывала и вывозила в коляске во двор, к яблоневому саду или смородиновой аллее. День у двух женщин был обычным, незатейливым – приготовить еду, напечь пирогов, обрядить корову с козами, выпустить кур, в огороде прополоть, постирать. После обеда, во время дневного Игнаткиного сна, Маруся работала с книгами, что-то записывала, подчеркивала, помечала закладками. Временами задумывалась, смотрела в окно, а потом опять много писала.

Клавдия тем временем хозяйничала по дому, ходила к соседкам или в магазин, а если позволяла погода – прогуливала Игната в коляске.

Вечером вся семья собиралась за большим столом. Это было самое шумное и самое любимое бабкино время. Степан рассказывал шутки и небылицы, услышанные за день на работе, Иван описывал, какую они новую избу или баню срубили, Игнатка улыбался на всех, ползал, а потом уже и бегал под столом.

Клавдия с Марусей любили баловать своих домашних разносолами, ужин всегда был трапезой плотной, по-своему, по-деревенски, богатой. Прямо в котелке из печи в центр стола ставилась картошка, запеченная в мундире, к ней Клавдия делала грибную подливу либо взбивала свежую сметану. Обжаривали дольки кабачков, резали салаты из овощей с огорода. Любили зажарить сельдь, треску потушить на молоке. Или же наварить ушицы из щуки – мужики носили рыбеху по выходным, в три утра в субботу натягивали бродни и уходили на реку. Возвращались к обеду, а к вечеру снова уходили.

Подавали к ужину и сухари, и свежеиспеченный хлеб. Редьку в квасе особенно любил Иван. Бывало, делала Маруся свое коронное блюдо – птицу «в полете»: засыпала огромный противень солью, ставила на него узенький чугунок, а сверху на него усаживала самую упитанную выпотрошенную курицу и запекала в печи на углях. Румяную аппетитную курочку, выпорхнувшую из печи, улепетывали мгновенно.

Выпечки на Клавдийкиной столе было традиционно много. Дрожжевое тесто бабка замешивала в больших десятилитровых кастрюлях и тазах, никого к нему не подпускала, сама ранним утром просеивала муку, месила, топила печь и ставила чаны ближе к теплу, чтобы тесто схватилось и хорошо поднялось. К девяти утра печь затапливали уже по второму кругу, чтобы успели созреть угли, и бабка Клавдия запускала сначала – в самый жар – хлеб, а сама тем временем крутила пироги. Шаньги и калитки; шанежки пресные, с ложкой сметаны, стекающей поверх; рыбники и кулебяки; каравай из ржаных сухарей. Осенью в ходу были черемушники и брусничники – маленькие ватрушки с ягодами, перетертыми с сахаром.

Запивалось все это домашним пивом, тминным и иван-чаем, брусничным и клюквенным морсами, мятным напитком, морковным квасом либо же киселем из меда или морошки – все это женщины делать умели, и делали. И ни один их совместный ужин за все годы, проведенные бок о бок, не мог обойтись без того, чтобы домочадцы, ухохотавшись и объевшись, не выползали из-за стола кто куда – кто к печи, кто к газете, кто к кровати или к лото. В этот период жизнь в Клавдийкином доме проходила так, как она сама любила – шумно и сытно, громко и людно; на застолья приходили соседи и друзья, и никого из них никогда здесь не обижали, а принимали как своих.

Клавдия вспоминала эти времена жальче всего, закрывала глаза, сидя на лавке у печи, и не могла поверить, как все это совсем не замечалось раньше, но как дорого оказывается теперь.

8.

На работу Маруся вышла не на полный день. Вела уроки с утра и к обеду возвращалась домой. Днем помогала Клавдии по хозяйству, а вечером устраивалась под лампой с тетрадями и книгами. Сначала проверяла ученические тетради, а потом занималась своими трудами.

Бабка боялась этого, где-то в глубине души предугадывая свою трагедию, ощущала, что в тетрадях тех, что пишет ночами напролет Маруська, растет ее, бабкина, боль.

– И что ты там все пишешь, Марья? Ну, проверила писанину своих неучей, и ладно, – не понимала Клавдия.

Маруся улыбалась в ответ, отмахивалась, многозначительно кивала, а иногда и позволяла себе отвлечься на разговор.

– Мам Клаш, да не переживай ты, я ведь не зря в институте училась, я хочу не только нашим деткам знания передавать и тут вот в огороде мокрицу полоть, понимаешь? Есть у меня идея одна, вот хочу ее в жизнь воплотить. Поселку нашему помочь. Да и не только поселку, а вообще, сельским детям, чтобы они тоже могли знания получать, как и городские, – поясняла по-простому Маруся.

Клавдия внимательно слушала ее, но все равно мотала головой.

– Ну, чаго, какие такие знания? Так же школа вона, училки работают. Ты ж вот и учишь! Неужто хуже городских?

Для Клавдии Марья была светочем знаний. Она понимала, что эта девушка не просто грамотная, умная, а энергичная, бабка слышала, про таких говорят – перспективная. В ней бьет ключ, который невозможно спрятать, зарыть, укрыть от всех в маленькой сельской избушке. Бабка боялась этого, где-то в глубине души предугадывая свою трагедию, ощущала, что в тетрадях тех, что пишет ночами напролет Маруська, растет ее, бабкина, боль. Она пока что не осознавала, в чем именно это кроется, но интуиция подсказывала, что эта наука принесет ей горечь.

В три года Игнатку все-таки решено было устраивать в детский сад. Маруся настояла на том, что мальчику нужно развиваться, социализироваться.

– Чаво-чаво делать?

– Со-ци-а-ли-зи-ро-вать-ся. От слова «социум» – общество. Ну, учиться общаться с другими людьми.

– О-о-ой, тьфу, шольное молодь! Да какими людьми! А я ему что, не людь, чо ли?

Маруся, смеясь, обнимала тонюсенькую бабку всем своим пышным телом, старалась приободрить, обещала пораньше приходить с работы, чтобы Клавдия не чувствовала себя одиноко. Конечно же, эти обещания не сбывались. Марья все дольше оставалась в школе, теперь у нее был полный рабочий день, несколько классов, вернулось классное руководство. После ужина до полуночи Маруся по-прежнему корпела над своими тетрадками, которых накопилась уже целая полка. Иногда Клавдия подходила к ним, смотрела, открывала, пыталась что-то понять, но смысл слов едва был знаком.

«Школьная реформа», «социальная селекция», «развитие образования на селе», «роль инноваций в сельской школе», «культурно-просветительский потенциал» – эти вырванные из контекста фразы нагоняли тоску.

Маруся занималась фундаментальным трудом, писала диссертацию, которая была посвящена этапам развития отечественных сельских школ. Примером Марья брала свои классы, над которыми ставила образовательные эксперименты и успех которых наблюдала. Педагогический опыт Маруси был небольшим, но достаточным, чтобы, как она считала, вдохнуть в сельское образование новое дыхание. Она не хотела, чтобы деревенские школы отставали от городских, областных. Тем более чтобы они ограничивали свою работу средним или начальным звеном.

Марусина работа имела большое значение не только для местного образования, но и для нее самой, для ее карьеры. Учиться дальше, двигаться вперед. Защитив диссертацию, Марья поступила заочно на факультет государственного управления. Через два года ее перевели в районную школу, потом – в областной центр, где Марья за несколько лет выросла из школьного учителя в завуча, а спустя еще время возглавила школу, став директором. Карьерный рост Марьин был быстрым и шустрым, как она сама: каких-то десять лет – и вот уже она решает глобальные задачи образования целого края.

Марья улетела из Клавкиного гнезда, разбив бабкино сердце.

– Мам Клаш, ну как ты не понимаешь? Надо нам в город переезжать, я и так два года езжу туда-сюда из райцентра, тя-же-ло! Да и Игнату учиться надо, что он тут, в сельской школе?

– Так ты, Марусь, не уезжай, и тут есть кого учить, ты сама ведь за это была, ну что ты, Маруська. –

Клавдия рыдала, просила, уговорила, а после и угрожала: – Не пущу! Что ты, смерти моей хочешь? Вот помру, так узнаешь! И Ваньку не пущу с тобой, окаянная! Пигалица ты, в город она захотела, ишь, шольная! Игната не тронь! Не пущу!

Истерика бабкина была долгой. Иван несколько раз разбирал чемоданы, билеты сдавали и снова покупали, соседи боялись проходить мимо дома, где то и дело слышались причитания, доходящие до криков. Однажды Клавдия спрятала всю одежду молодых, в другой раз стащила билеты и бог знает куда дела, прикидывалась хворающей, подговаривала Игнатку убедить родителей остаться, ругалась с сыном и внуком и наконец, взяв с родных клятву на иконе Божией матери, что будут приезжать при любой возможности, все каникулы и отпуска проводить у Клавдии, сдалась.

Уезжали Иван с Марьей и Игнатом холодным сентябрьским утром. Простились, поцеловались, сгрузили вещи в машину и уехали. В этот день Клавдия так и просидела на крыльце, не шелохнувшись, глядя в ту сторону, где спрятались за горизонтом ее любимые, смотрела, вглядываясь – не вернутся ли вдруг? Хоть бы и забыли чего. Или передумали. Или Игнатку решили оставить, заплакал, наверное, куда ж без бабки-то!

Но никто не ехал. Не возвращался.

– А я как же? Я?
– Мать, пойдем давай, я-то с тобой. Ну, молодым надо о себе думать, Игнатке учиться. Приедут ведь. – Степан уволок Клавдию в дом, уложил спать, всю ночь прислушивался – спит ли, не ушла на крыльцо?

Легче Клавдии стало только через два месяца, когда Игнатка с Иваном приехали на каникулы. Игнатка был одет совсем как городской, изменился, весело рассказывал бабке, как ему нравится в большом городе, показывал отметки в дневнике, современные игрушки, книжки. Иван больше молчал, ему было тягостно в городе, но речи о возвращении в деревню и быть не могло – Марья учительствовала, занималась с ребятами дополнительно, участвовала в конференциях, писала очередную научную работу. Ее жизнь кипела, и оглядываться на мужнину тоску времени не было.

9.

В городе Иван устроился на работу в обувную мастерскую, начинал с подмастерья. Ему нравился спокойный кропотливый труд, нравилось чувствовать силу своих рук, прекрасно владеющих шилом и иглой. Сначала Иван занимался только мелким ремонтом обуви, менял набойки, супинаторы или молнии, ставил заплатки, устранял незначительные дефекты. Постоянные клиенты приходили с одинаковыми заботами починки и реставрации.

К большому оборудованию, на котором работал главный мастер, Иван не подходил, швейный станок, кройка деталей, изготовление колодки не привлекали его. Зато с удовольствием он шлифовал готовое изделия, вносил правки в итоговый фасон, приклеивал и пришивал вручную подошву.

Марья видела, как талантливо и с какой любовью Иван занимается обувью, предлагала ему подумать о своем деле – начать делать свою обувь, индивидуальную, настоящую. Но Иван отмахивался.

– Нет, Марусь, я не идейный, я не такой энергичный, Марусенька, оставим все как есть, – мягко отвечал и подгружался обратно в свой обувной мир и мысли о деревне.

Марье казалось, что супруг свыкся с городской жизнью. Иногда они выходили в театр или на концерт. Иван молчал, поглядывал на свою бойкую красивую жену. Она всегда встречала много знакомых, ей уважительно кивали, называли по имени-отчеству. Иван радовался успехам жены, гордился ей, зная, что мог бы чем угодно пожертвовать ради нее. Понимал, что эта городская жизнь – Маруськина, и она ее действительно заслуживает, она здесь как рыба в воде, понимал, что боль переезда в город была правильным решением.

Понимал. Но, сидя за башмаками, всегда думал о деревне, о Клавдии. Картинки расставания вставали перед ним, словно это случилось вчера, видел ее слезы, слышал ее зов. Словно вся бабкина душа была развернута перед ним, он чувствовал ее далеко на расстоянии, мысленно говорил с ней, просил прощения и обещал вернуться насовсем. В деревню, конечно, они приезжали, навещали Клавдию. Но это было нечасто и непродолжительно – Марья не могла надолго отлучаться от своей работы.

Страдания свои Иван прервал сам, своим вторым волевым решением за всю жизнь.

– Все, Марусь. Не могу больше. Двадцать лет уже не могу. Домой хочу. Да и бабка старая совсем, не надо ей одной жить, а сюда она ни за что не поедет. – Категорическое решение к Ивану пришло после того, как он начал видеть в снах похороны Клавдии.

Марью не удивили эти слова, она ждала их, боялась и лишь надеялась, что пройдет как можно больше времени, прежде чем супруг произнесет то, чем жил долгие годы. В то же время она до сих пор

верила в свою теорию о поступках, ведущих к личному счастью, поэтому уговаривать остаться не стала, просила только, чтобы приезжал чаще.

– Тут твой дом, Ваня. По Клавдии я тоже скучаю и беспокоюсь, поживи с ней, но я всегда буду тебя дома ждать. – Этим была поставлена точка в мучениях городской жизни Ивана.

10.

В деревню Иван вернулся в мае. Клавдия хоть и радовалась, как ребенок, возвращению внука, но никак не могла взять в толк:

– Так неушто вы разошлись, ну-ка правду скажи! Обидел бабу? Ну? Шольной! Обидел, говорю? – выспрашивала, заглядывала внуку в глаза, махала кочергой.

Иван смеялся. Такой легкости на душе он не испытывал давно. Смеялся, целовал бабку и объяснял в сотый раз, нет, мол, вместе мы, к тебе просто пожить приехал, тебе буду помогать, а Марья навещать будет и в отпуск приедет, как работа позволит.

– Да и дети скоро на каникулы приедут, чего ты! Ольку к нам привезут! Игнат с Настей собираются на раскопки в горы, будет тебе веселье – девчонкой займешься. – Иван обнимал Клавдию, та изворачивалась от его нежностей, на радостях и не зная, как быть, верить ли внуку, да что и ждать теперь.

Первые ночи бабка потихоньку пробиралась в комнату к Ивану – посмотреть, тут ли он, не приснилось ли ей все это. Половицы скрипели, Иван просыпался с испугу:

– Тьфу ты, ну мам Клаш, успокойся уже! Тут я, тут, чокнусь с тобой точно! Смотри, доведешь, в город обратно уеду ведь.

– Что ты, что ты, спи, я так просто, вроде как думала, что зовешь ты, что ли, меня. – Клавдия уходила, прикрывая за собой дверь, но снова заглядывая, чтобы убедиться: дома Ивашка, завернулся в свое старое пуховое одеяло, как в детстве, подпихнул уголок под щеку и спит, поджав губу.

Потом успокоилась окончательно.

«Тут он, тут. Дома мой Ивашек».

Клавдия улыбалась беззубым ртом. Завернувшись в шаль – майские ночи студеные, – босыми ногами шла по уютному дереву сеней. Приотворив дверь на улицу, окидывала взглядом свои владения, перешагнув высокий порог, пальцами ног нащупывала крыльцо.

«Шаткое совсем, надо сказать Ивану, пущай как смастерят, что ли, с Игнатом, раз уж приедет скоро. Или не нать. Вот ведь попортят крыльцо мне, михрютки этакие. Ну ладно, сами, что ли, придумают чаго. Уж приедут главное, приедут. А там и Маруська вернется, куда ж бабе этой шольной без нас…»

Покивав сама себе, Клавдия вдыхала свежий весенний воздух и плелась обратно в избу, поглаживала перила ветхого крыльца, по которому когда-то девчонкой сбегала вприпрыжку, помахивая цветастым платком, и на котором теперь почти уже столетней бабкой караулит и ждет своих самых дорогих людей, тех, ради кого и следующие сто лет отдавала бы всю себя без остатка.

КОГДА СЫГРАЕТ АНГЕЛ

АНДРЕЙ САМОХИН
56 лет. Родился во Львове, всю жизнь прожил в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в «Камчатской правде», газете «Красное знамя» (Томск), АПН, газетах «Алфавит» и «Культура», на портале «Царьград», в газете «Взгляд». Вел телепередачу «Технодром имени Кулибина» и «Церковь и общество» (канал «Союз»). Автор поэтического сборника «Душа-беглянка» (2015), повести «Шапка бомжа» (журнал «Балтика», 2020), ряда фантастических рассказов, опубликованных в журнале «Техника — молодежи». Лауреат общероссийской премии «Золотое перо Руси» (2016).

Как выли, как гудели ветрами трубы осени! Под вечер становилось пусто и ясно. Сразу за рыбачьим балкóм начиналось море, и край его, все более пенистый и холодный, без конца накатывался на серую полоску берега – литораль на языке геологов. Лето осталось позади. Где-то там, в распадке сопок, где стояла, укрытая от прибрежного ветра, палатка, оно осело, съежилось в головешку, впиталось в податливую подстилку тундры.

Вечером Королев ходил под скалами, глядя на море. Скучно было ложиться спать сразу после ужина; играть на гитаре не хотелось, говорить тоже. За три месяца «поля» четыре человека, сидевшие безвылазно на краю земли, успели наговориться до отвращения к словам. Больше хотелось думать и молчать.

Какие закаты стояли в сентябре! Сиреневые всадники и драконы родились и рассыпались в облаках, не успев сразиться. Солнце, падая в море, гасило их порыв, и они бежали серыми баранами вдаль.

В начале лета работы было по горло – Королев валился вечером с ног и засыпал бы сразу, если бы не влажные шлепки медведя, глушившего рыбу в реке, в каких-нибудь двадцати метрах от их палатки. С непривычки было жутковато, и они со вторым коллектором (то есть подсобным геологическим рабочим) Женей трагическим шепотом спрашивали у начальника отряда интеллигентного меланхоличного Коли: «Где тесак?» Коля поправлял очки, которые не снимал даже ночью, потом немного жевал свою соломенную бороду и ровным голосом осведомлялся: «Зачем?»

– Чтобы заднюю стенку палатки вырезать, если медведь в дверь полезет!
– Не полезет, спите, – таким же ровным голосом, без оттенка насмешки или раздражения, отвечал Коля и поворачивался на другой бок.

Потом к медведям привыкли, а теперь была осень – «хозяева тундры» ушли вслед за нерестующим лососем в верховье реки.

Дел у отряда становилось все меньше, и скоро уже должен был зашуметь издали вертолет или появиться с севера вездеход – гэтээска. Их привезут на базу – в поселок на другом берегу полуострова, куда постепенно съедутся все отряды их партии. Будет портвейн и пиво, геологические байки и ночные купания в горячем источнике. А потом лайнер, поблескивая крыльями, унесет их обратно – в большой шумный город к забытым на время страстям, нераспутанным житейским головоломкам. Возвращение страшило, но таков был закон.

Последние дни Королев полюбил в сапогах или кроссовках, надетых как тапочки – без шнурков, ходить по берегу один, неуклюже уклоняясь от

наката. За полевой сезон они успели пережечь огромные залежи плавника – обкатанных морем и вынесенных в устье реки сучьев, досок, ящиков. И теперь под ногами валялись только мелкие щепки вперемешку с шарами кухтылей и обрывками сетей. Кухтыли – стеклянные, в пластмассовых обертках, оранжевые, черные, с японскими иероглифами. Жестяные банки из-под пива, бутылки, вешки краболовов, каски с названием кораблей, откуда их смыло. А еще – гниющие кучи морской капусты, череп нерпы, тельце недавно погибшего в шторм тюлененка…

Весь этот хлам плавающей цивилизации и мертвые осколки природы, собранные здесь волей течений, наводили Королева на какую-то простую, важную мысль. До того простую, что ему было досадно, что он никак не может ее схватить. Она словно бы обнимала все предметы, связывая их воедино общей судьбой. В ней были равны отдельные судьбы человека и чайки, раковины и тюленя.

Закат сегодня удивительный. Золото. Роскошное, царственное. Тени от сопок, тени от облаков, между гребнями волн – тени. А против них – побеждающее, пронзительное, золотое… Наверное, такой закат будет за день до конца мира. И Он так же вот пройдет по берегу Океана. Кто там только не таится! Вся тварь морская и земная, все косные гады, пучеглазые чудища со дна, все камни, и облака, и растения. А наверху пробегут, подталкивая друг друга, как рябь по волнам, вечно живые лица: Гомер и Данте, Бах и Моцарт, Ньютон и Гете, Шекспир и Пушкин… И еще сотни знакомых и незнакомых лиц. В сущности, это будет лицо одного Человека. И будет такой же вечер, и чайки неугомонные, и ночь наступит, и пройдут косяками вдали белухи и увидят, быть может, костер на берегу в распадке сопок… Спешить некуда.

Утром на завтрак была, как всегда, уха из двух горбуш. У одной – на спине белое пятно и оборванный плавник: следы встречи с чайкой. Повар Лариса взялась чистить рыбу с отвращением и наконец, бросив нож, заявила: «Не могли напоследок нормального кижуча поймать, а не эту паршивую горбушу!» Крупы, как и сухарей, почти не осталось, так что приходилось довольствоваться, по выражению начальника Коли, обыкновенным лососем в собственной икре. Тушенка и сгущенка доставались идущим в маршрут, что было предметом низкой зависти оставшегося дневалить. В смысле «пожрать» он мог рассчитывать только на себя.

Чтобы наловить рыбы, не нужно было ни удочки, ни сети. Во время отлива надевали болотные сапоги, брали в руки бамбуковую краболовную вешку и заходили в обмелевшую реку неподалеку от самого устья. От хлопков палкой по воде лосось пугался и поворачивал обратно в море. Но каменный перекат за спиной уже предательски обнажился: напрасно ползти брюхом по песку к спасительной глубине – острый нож ловца достанет, хищные руки схватят бьющееся, не желающее смириться со смертью сильное тело. Кинут в мешок, оглушат, выпотрошат из яcтыков икру. А потом порежут на кусочки, бросят в котелок, съедят и выплюнут на песок кости. Чтобы одному жить – другому нужно умереть. Таков закон.

Королев пристально смотрел в чистую зеленую воду, мутившуюся от шагов. Серые спины метались взад и вперед. Одни, самые сообразительные, проплывали у него между ног и уходили вверх, в омуты. Они шли, чтобы облегчить натруженное в морях тело, выложить в разрытую носом ямку икринки, из которых на следующий год вылупятся мальки. Вскоре они станут такими же сильными лососями, уйдут в море, дадут осенью новое потомство и умрут. Отметавшие икру самки и оплодотворившие их помет грустные носатые самцы будут кружиться в омуте – красные, словно ошпаренные. Осенние листья в предчувствии скорого тления.

Они будут медленно заваливаться набок, удивленно взбрыкивать плавниками, как бы не понимая собственной смерти. А смерть уже настойчиво совершается в подернутых поволокой глазах: медленным распадом вещей, задумчивым и презрительным взглядом медведя, замершего над водой с поднятой лапой. Образ его двоится сквозь водяную рябь, но его уже не надо бояться, уходить глубже – он уже не враг, он Хозяин. А хозяин замер в размышлении: можно ли еще есть эту красную полупадаль. И ленивый, сытый, он отходит в сторону, погнушавшись. Лосось увидит перед смертью только высохшую морскую соль на гальке, почувствует незнакомый бодрящий осенний воздух. Воздух другого берега.

Чайки доклюют разлагающиеся тушки, и оборот Великого Колеса свершится: молекулы разбегутся по крови птиц, по костям медведя, уйдут в землю, воду, растения. Разве не выпало и нам быть спицей в этом Колесе? Не взглянет ли однажды в твое расслабленное лицо сильный молодой зверь, раздумывая: годишься ли ты еще на корм? Или, быть может, тебе дано пройти перед заходом солнца над вечереющими волнами в образе Человека?

Шум наката и красные всадники в небе, ход лосося и скрип снега под нартами. Одно – одинаковое для всех и каждому свое – солнце: горячее, ветреное, зимнее.

Королев сварил уху и ел, вылавливая ложкой из котла куски жирного добротного лосося. Спешить некуда.

Несколько раз к ним приезжали гости: инспектор рыбнадзора, коряки на лошадях. Инспектору до всего было дело в их хозяйстве – он искал сети, крупные заготовки рыбы и икры. Не найдя, пил чай, курил и уезжал, полный недомолвок. Буквально через день с другой стороны приезжали коряки. Они слезали со своих низеньких неоседланных лошадей, снимали попону из мешковины, заходили в балок «по чай, по уху». Узнав, что приезжал рыбинспектор, качали головами, щурили щелки глаз, приговаривая странное: «Жив еще, однако». Аккуратно пили чай, ели уху; аккуратно молчали, смотря хитро и простодушно одновременно.

На Королева находило тогда смешанное чувство своего превосходства и своей ущербности перед этими кочевниками. Однажды поутру, прогуливаясь, как обычно, вдоль кромки моря, он услышал глухой конский топот. Издалека по гальке с гиканьем и свистом прямо на него скакал веселый камчадал. «Куда едешь?» – спросил его Королев, улыбаясь. «Домой», – ответил тот на скаку, просияв улыбкой.

– Куда это?

– Везде мой дом!

И ударил коня пятками, и гикнул, и затянул какую-то дикую песню, и ускакал, оставив за собой запах конского пота и призрак вольной воли.

Эти люди жили в настоящем, именно поэтому знали, что было и что будет. Королев не знал этого.

Шум наката и красные всадники в небе, ход лосося и скрип снега под нартами. Одно – одинаковое для всех и каждому свое – солнце: горячее, ветреное, зимнее. Королев хотел бы выразить это, но как? Вот он сидит у костра, закипает чайник и бьет накат. Вот он идет в маршрут, берет указанные образцы, заворачивает их в бумажные пакетики, шуршит под ногами галька, бьет накат. Он засыпает в палатке, слышит крики чаек, но даже во сне бьет в берег накат. Тот, кто думал за него, не мог ему помочь – он молчал.

* * *

Вслед за восхищением приходит тоска, вслед за тоской – спокойствие и понимание. Какой мудрой улыбкой дарит нас природа, когда мы подходим к ее закромам, отягощенные грузом своих предрассудков и гордыни! Мы хотим подчинить ее себе, взять, как женщину, а она снимает с нас слой за слоем – как шелуху с луковицы, все гордое и умное, все имеющее претензию на понимание. И вот мы уже стоим совсем голые, сочась глупым луковичным соком, и просим: помоги нам, спаси нас от самих себя, укажи нам путь! И природа возвращает нас тогда в состояние первоэлементов или улыбается нам мудро и иронично – как вздумается.

* * *

В последние дни «поля» Королев вышел с начальником Колей в тундровый маршрут. Небо отдавало последнее сдержанное тепло, предвещая короткую осень и скорую зиму. Голубика, брусника, жимолость, медвежья шикша, налитые соком лета, рассыпались под ногами, как бусины невиданного ожерелья. От ягод просто не было спасенья; и два человека, забыв про все дела, переползали от куста к кусту, набивая рот красными и синими бусинами. Сверху на фоне тундры они, наверное, казались двумя жуками, ползущими по палитре. Наевшись до пресыщения, они встали вновь на свои четыре ноги и пошли по направлению к реке.

На берег вышли по самым медвежьим местам: кругом шеломайник выше головы, трава свежепримятая – лежки. Тут, когда идешь, лучше посвистывать, а то натолкнешься на косолапого невзначай. Весь берег – в медвежьем помете – куча на куче. Королев попросил начальника: «Коль, пальни в воздух, может, кто в кустах тех сидит». Сухую тишину кольнул выстрел. Эхо унесло, и тишина, казалось, стала еще глубже, полновеснее. Двое людей успокоились, развели костер, подогрели тушенку, вскипятили чай в консервной банке, закурили.

Молчал шеломайник, молчал ветер. Казалось, осенний тихий день просил подумать, сбросить ненужное,

посмотреть, не шевелясь, в глубину своего отражения. Но людям всегда неймется. «Коль, давай постреляем», – предложил Королев.

Они водрузили банку, из которой только что пили чай, на камень у реки, а сами залегли у пригорка. Королев долго прицеливался, потом бежал смотреть на кучность стрельбы. Дробь ложилась ровно – ружье было пристреляно. Последним зарядом он выстрелил в красного предсмертного лосося в реке. И когда тот покорно повернулся кверху брюхом, Королеву вдруг почудилось, что он ненароком застрелил самого себя.

Откуда ни возьмись, поднялся ветер. Пустая пачка из-под патронов легко соскользнула с руки, упав на одеяло тундры. Они оба одновременно подумали, что теперь-то уж точно «полю» пришел конец. Пора было возвращаться в лагерь.

Бредя вслед за начальником отряда, Королев вдруг услышал странный звук. Чудилось, кто-то неведомый трубил в серебряную трубу на двух-трех нотах – протяжно и заунывно. В серебряную, серебряную – откуда это взялось в его голове? Ангел, трубач, кто это? Где же он трубит: за сопками ли, за морем, в его сердце? Почему так красиво и тревожно? «И возьмет второй ангел трубу» – откуда это?

Королев остановился и тронул начальника Колю за рукав: «Слышишь? Что это?» Тот прислушался, пожевал свою соломенную бороду и спокойно обернулся за спину, где висела двустволка «ИЖ». Показал пальцем на стволы: «Это здесь».

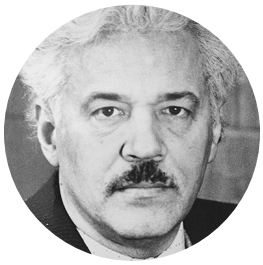
Королев стоял и слушал музыку холодных вороненых стволов. Эти трубы осени… Это ветер, носясь над тундрой, озирая последний ее багрянец, трубил заунывно и жалобно в две железяки за плечами человека. Это он свиристел и вздыхал, призывал к чему-то, нес к морю клочки оленьей шерсти, смятую коробку сигарет, боль, тревогу, сожаление о том, что невозможно высказать и узнать.

И тогда двое, молча и уже не прислушиваясь, пошли дальше – туда, где каждого ждала его собственная судьба.

Спешить некуда.

1985–2005
Камчатка – Москва

ПОПУТЧИЦА



ЮРИЙ ПОРОЙКОВ
Журналист, писатель и поэт, автор многих рассказов, повестей и поэтических сборников. Печатается в журнале «Юность» с 1980 года. Лауреат литературной премии И.А. Бунина. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с песнями на стихи Ю. Поройкова. Кандидат философских наук, работал первым заместителем главного редактора «Литературной газеты», первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС.

Еще думал нынче о прелести – именно прелести – зарождающейся любви. Это вроде того, как пахнет вдруг запах зацветающей липы или начинающая падать тень от луны.

Л. Толстой

После завершения первого курса института, где я учился на филологическом, родители решили отправить меня погостить у родственников отца в Подмосковье.

Поезда тогда, в начале 50-х, ходили неспешно, подолгу застаивались на узловых станциях, и время убивалось разговорами с попутчиками. Но я большую часть его проводил в тамбуре у окна.

Я впервые ехал на поезде, и мне было поначалу интересно наблюдать сменяющиеся картинки незнакомой местности: бесконечные хвойные леса, кустарники, холмы и пригорки с жухлой травой, болотца, зловеще проблескивающие на солнце, редкие убогие домишки за покосившимися заборами, серые от пыли грузовики перед шлагбаумами, тощие лошаденки, бредущие по дороге.

Людей было мало, редко кто из них поворачивал голову в сторону гремящего поезда, и лишь однажды какая-то девочка в белом сарафанчике помахала нам рукой. И снова – леса, кустарники, пригорки и холмы да с ревом пролетающие мимо встречные товарняки. Уши закладывало от бешеного перестука скачущих на стыках колес, в пропахший табаком тамбур через распахнутую межвагонную дверь вваливался вонючий комок чужого угольного дыма…

Странные чувства рождало в душе это первое в моей жизни путешествие. За двое суток я успел растерять многое из первоначальных восторженных представлений о поездке.

Я начал уставать от людской скученности в вагоне, запаха потных тел и несвежей одежды, непрестанно хлопающей туалетной двери, невозможности уединиться где-либо, кроме прокуренного насмерть тамбура. Удручали и бесстрастная пустынность лениво убегающего назад пространства, безлюдность, отсутствие ярких красок. Пропало даже желание сочинять стихи: я мечтал, что займусь этим в долгой дороге.

Словом, сказка завершилась, едва начавшись, сказал я себе, проводив глазами длинный бетонный забор и гигантский склад за ним. Судя по всему, мы въезжали в предместье большого города.

Я потянул из кармашка брюк часы с недлинной витой цепочкой и открыл крышечку. Еще не успев привыкнуть к отцовскому подарку, я много раз на дню открывал ее и завороженно рассматривал ослепительно белый циферблат с крупными римскими цифрами.

– Заморская цацка, – прозвучал сзади хриплый голос. – Дай взглянуть на вещь!

Я обернулся. Это был невысокий жилистый парень с рыжеватым чубчиком над узким морщинистым лбом и немигающими светлыми глазами. Он протянул руку, но я щелкнул крышкой и положил часы в карман.

– Ты че? – удивился он и ощерился, показав металлическую фиксу в уголке рта.
– Ниче, – сказал я. – Вещь не смотрится.

И отвернулся от него к окну, но, скосив глаза, следил за движением его правого плеча.

Я его не боялся и знал, что здесь драку он затевать не будет – мы были не одни. У двери напротив стояли двое здоровых мужиков из соседнего с моим отсека.

– Вот фраер, а? – поделился с ними парень и сплюнул себе под ноги. – Врезать ему, что ли?
– Ага! – откликнулся один из курящих. – А потом мы тебе по разу, а то и по два.

Они засмеялись.

– Повстречаемся еще! – Парень многозначительно цыкнул зубом и пошел в соседний вагон.
– Я тут второй раз его вижу, – сказал мужик. – В прошлом году мы одного такого же с поезда на полном ходу спустили под откос. А ты, – обратился он ко мне, – поменьше часы из кармана вытаскивай. От греха подальше. За них и голову оторвать могут.
– Не оторвут, – возразил я, но не очень громко.

Станция была узловая, нас приняли на первом пути, и народ повалил к зданию вокзала, где вдоль фасада с огромными мутными окнами стояли столы, накрытые широкими простынями и уставленные подносами с нарезанным хлебом. Когда я подошел, все места уже были заняты, но люди тут не задерживались, и вскоре я сел на освободившееся место. Потом ушли и сидевшие на другой стороне стола, я поднял глаза и вдруг увидел разговаривающую с официанткой девушку с красным шарфиком на плечах.

Это была она! Та самая, которую я увидел впервые из окна вагона на предыдущей большой станции и почувствовал странное стеснение в груди.

За те несколько минут, которые она находилась в поле моего зрения, я успел рассмотреть и запомнить ее в подробностях – от ног в красных босоножках до русых распушенных прядей волос, обрамляющих чистое, без загара, улыбчивое лицо, худенькие плечики, прикрытые красным шарфиком, и, конечно, большие темные глаза с высокими дугами бровей. Легкое цветастое платьице чуть ниже колен рельефно облегало ее стройное тело, и я понимал, почему на нее оглядываются стоящие группками и гуляющие по перрону мужики.

Она была поразительно эффектна и знала, конечно, об этом, но ничто не отвлекало ее от собеседницы – ни любопытствующие мужчины, ни тем более я, словно примерзший к пыльному стеклу вагонного окна в десяти шагах от нее.

Проходящая мимо проводница с ведром угля со словами «Счас поедем!» отодвинула меня в сторону, и когда я вернулся к окну, их на перроне не было. Но девушка с красным шарфиком уже прочно впечаталась в сознание, мгновенно выбив из меланхоличного состояния, в которое я незаметно погружался.

Дважды за вечер я прогулялся по всему поезду в поисках ее, пока суровый проводник мягкого вагона с яркой ковровой дорожкой на полу не шуганул меня крепким словом. И потом я долго ворочался на узкой полке, придирчиво разглядывая ее, стоящую перед глазами в запомнившихся подробностях, добавляя к ним щедро открывающиеся памятью новые.

Удивительно, но не тогда, а сейчас, я увидел, что она время от времени как бы выпрямляет спину, чуть выдвинув вперед грудь, что стопа правой ноги у нее как бы под углом к левой, что улыбается она уголками губ, а при разговоре почти не мигая смотрит в глаза собеседнице, что не пользуется помадой и не красит брови, не носит никаких дорогих цацек. И кольца на ее руке не было…

Я поймал себя на мысли, что препарирую ее, как редкую красивую бабочку, прилетевшую из заморских далей. Сказалось все-таки школьное увлечение насекомыми!

И вот теперь она вновь передо мной – такая же, какой жила во мне всю неспокойную ночь, так же, как тогда, лицом ко мне, и я увидел, что глаза у нее не темные, как показалось в первый раз, а ярко-синие.

Звонкий голос репродуктора сообщил о скором отходе поезда.

Я заплатил за несъеденный остывший борщ и пошел к своему вагону, постоянно оглядываясь назад. Ее не было, не появилась она и когда состав тихо стронулся с места.

Не отрывая взгляда от дверей вокзала, я взялся за поручень и пошел рядом с вагоном, огрызаясь на проводницу, требующую или прыгать в вагон, или убираться к чертовой матери.

Я уже перешел на бег, когда увидел девушку, тоже бегущую за поездом. Было ясно, что она, хотя и бежала удивительно быстро, не успеет, и я отпустил поручень.

Инерция была столь велика, что я, как булыжник, запущенный пращой, чуть не снес фанерный киоск.

«Я никогда не ношу с собой больших денег», – сказала она несколько даже, как показалось мне, высокомерно, я же честно признался, что больших денег вообще никогда не видел, а которые с собой были на дорогу, истратил в пути.

Перепуганная продавщица высунула голову из своего скворечника и только широко раскрыла рот – видимо, слова со страха провалились у нее куда-то внутрь.

Я послал ей воздушный поцелуй и повернулся посмотреть, не улетела ли так же и девушка.

Она сидела неподалеку на асфальте, держась обеими руками за ногу. Рядом лежала босоножка со сломанным каблуком, а метрах в двух валялась раскрывшаяся сумочка.

Подходя, я подобрал ее и защелкнул замок.

– Вы хорошо бежали, – похвалил я. – А я вот не смог удержать для вас поезд.
– Лучше помогите мне встать, – проговорила она, морщась. – Кажется, я подвернула ногу.

Я помог ей подняться и бегло осмотрел.

– М-да, потребуется к тому же и мелкий ремонт.

Она посмотрела на колено, локоть и дернула носиком:

– Ерунда! Вот нога… Как я теперь с такой ногой?
– Для начала давайте доберемся вон до той скамейки, – сказал я. – Вы можете наступать на ногу?
– Попробую… – Но через несколько шагов она остановилась: – Нет, очень больно. Я лучше на одной ноге…

Надо было бы, конечно, подхватить ее на руки, но у нее было такое лицо, что я не решился.

С моей поддержкой она довольно ловко допрыгала до скамейки.

– Вы, наверное, в детстве часто играли в классики? – спросил я.

Она раздраженно дернула плечиком, и я тут же свернул тему. Мои шутки ей явно не нравились, а я никак не мог нащупать нужную ноту.

Подошедшая продавщица киоска прервала наше затянувшееся молчание.

– Ты меня до смерти напугал, – сказала она укоризненно, – я чуть не описалась.
– Извините, это не я. Это поезд меня в вас швырнул.
– Ладно уж – поезд! Живы все, и то хорошо.

Она положила на край скамейки распечатанный пакетик бинта и пузырек зеленки.

– Я недавно тоже поранилась, вот и оставила на всякий случай. Может, помочь?
– Нет, спасибо, – ответил я. – Нас в школе учили оказывать первую помощь. Раненая, вы готовы?

Девушка протянула руку, и я, смочив зеленкой оторванный от бинта кусочек, замазал кровоточащие ссадины на локте и запястье левой руки, потом с таким же тщанием озеленил колено. Бинтовать не стал – бинт был узкий и короткий, хорошую повязку не сделаешь.

Она недовольно морщилась:

– У вас холодные руки.
– Да? – удивился я и посмотрел на свои ладони. – Зато чистые. Почти.

Ее взгляд был изучающим и оценивающим, и я внутренне словно прогнулся от него, а во рту стало жарко и сухо, как на первом вступительном экзамене в институте. И не оттого, что взгляд был недобр – он был заведомо победителен и требовал абсолютной покорности. Но меня не надо было покорять – я уже был покорен.

– Зачем вы остались? – спросила она. – Это же глупо!
– Это с какой стороны смотреть…
– Да с любой! С моей, например.
– А с моей – нет.
– И все-таки зачем?
– Чтобы помочь вам.

Мне не нравилась эта перепалка, и я старался смягчать свои слова улыбкой. Но она не могла унять раздражения.

– Сдаюсь, – сказал я, поднимая руки. – Вы правы, я совершил глупость, измазав вас зеленкой, причем холодными руками. А теперь, может, займемся делами?
– Хорошо, – неожиданно согласилась она.
– Начнем с финансов, да?
– Хорошо. – И она улыбнулась.

Большего мне и не требовалось.

С деньгами мы разобрались быстро. Выяснилось, что их у нас практически не было.

«Я никогда не ношу с собой больших денег», – сказала она несколько даже, как показалось мне, высокомерно, я же честно признался, что больших денег вообще никогда не видел, а которые с собой были на дорогу, истратил в пути. И это было почти правдой, потому что на многочисленных остановках трудно было устоять перед соблазном полакомиться разной снедью, предлагаемой бойкими торговками.

– Не в деньгах счастье, – сказал я бодро и отправился на разведку, прихватив с собой босоножку со сломанным каблуком.

На дверях медпункта висел большой замок. Я зачем-то подергал его и пошел к начальнику станции.

Начальник уехал обедать, должен был вернуться через час.

Зато босоножку пожилой татарин – чистильщик обуви на привокзальной площади – починил бесплатно. Перед тем как отдать босоножку я, естественно, рассказал ему о бедной молодой женщине, которая отстала от поезда и осталась без документов и денег, да еще и с поломанной ногой, а я решил ей помочь хотя бы вот в этом деле.

– Студент, что ли?
– Да.
– Ну, тогда понятно.

Что ему понятно, я понял тоже с облегчением – лишняя пара-другая рублей нам не помешает.

– Дорогая туфля, – сказал он, рассматривая босоножку. – Я тут у нас таких и не видел.

«И долго еще не увидишь», – подумал я, но не сказал.

Там меня встретили улыбкой, но уже другой. Я сразу же мысленно включил в список важных подробностей ее портрета эту способность улыбаться по-разному.

Я любил улыбчивых людей.

В сторонке кучковались трое парней, проводившие меня долгими взглядами. Потом они ушли, попеременно оглянувшись на нас.

– Приставали? – спросил я.
– Нет, предложили помощь. Я сказала, что у меня уже есть помощник.
– Вас нельзя оставлять надолго одну.
– А вы и не оставляйте, особенно надолго.

Она снова улыбнулась, и это была опять совсем другая улыбка. Теперь я буду их коллекционировать.

– Очень аккуратно все сделано, – сказала она, внимательно рассмотрев босоножку. – Он – молодец!
– И главное – бесплатно! – уточнил я.
– Тогда – тем более.
– Во всех смыслах хорошо, – сказал я. – Все, оказывается, здесь в обеденный перерыв обедают, так что нам придется минут сорок покуковать…
– Ты меня, пожалуйста, извини, – сказала она, неожиданно переходя на «ты». – И не обращай внимания на мое дурное настроение. Это скоро пройдет. Я тебе действительно очень, очень благодарна. Но я не люблю приставал. Я просто ненавижу эту породу.
– Но ты ошибаешься – я не приставала, – возразил я, тоже переходя с легкостью на «ты».
– Значит, ты просто хороший, добрый мальчик? – улыбнувшись, спросила она.
– Пусть будет так, – согласился я.
– А сколько мальчику лет?
– Двадцать, – не моргнув, соврал я, уже сообразив, что она года на три старше меня.

«А на пять не хочешь?» – ехидно спросил внутренний голос.

– Я так и подумала, – сказала она. – Как тебя зовут?
– Алексей. Можно – Леша.
– А меня Лина. К сожалению, никак иначе не можно. И лукаво прищурилась.
– А зачем ты так рассматривал меня?
– Когда?
– Когда я разговаривала с официанткой…
(Ага, значит, заметила! – порадовался я.)
– Ты мне понравилась.
– С первого взгляда?
– Да, с первого взгляда.
– А ты знаешь, что говорят мудрые люди, как не ошибаться при этом?
– Нет.
– Надо посмотреть второй раз.
– Это и был второй раз. Первый раз я видел тебя, когда ты прогуливалась по перрону с какой-то дамой.
– И я тогда тебе тоже понравилась?
– Да, – сказал я. – Очень. На тебе был красивый красный шарфик.
– Значит, тебе понравился шарфик?
– Ты понравилась бы мне и без шарфика.
– Я не думала, что кто-то подсматривает за мной.
– Не подсматривает – смотрит. Многие мужчины тогда смотрели на тебя.
– И ты был один из них?
– Да. Но я был единственным, который знал, что останется с тобой на этой станции и подарит тебе самый большой букет в мире.
– Ты меня пугаешь, – сказала девушка.

Потрясенный, я молча пялился на исчезающее со звоном пространство. Мир, мгновенно перевернувшийся вверх тормашками, восстанавливался неспешно, постепенно возвращая на свои места серые стены, огромные пыльные окна, скамьи, людей, чемоданы…

Она еще хотела что-то добавить, вряд ли приятное для меня, судя по выражению лица, но сдержалась и снова потрогала отек на ноге:

– Больно шевелить пальцами.

Она с трудом вытянула ногу, и я поразился, как быстро синюшно округлилась ее щиколотка.

– Надо идти в медпункт, может, он раньше откроется.
– А как я туда доберусь? Видишь, как опухла нога?
– Я тебе помогу.
– Я не смогу идти. И прыгать уже не смогу.
– Я донесу тебя до вокзала.
– А если ты меня уронишь? Как ты меня понесешь?
– Возьму на руки и понесу.

Я показал как, вытянув перед собой руки.

– Так ты меня действительно уронишь, – возразила, сердясь. – Помоги мне сесть боком. А теперь левой рукой обними, а правой подхвати ноги под коленками.

Я посмеялся про себя – что я, сам не сообразил бы? – но сделал, как она сказала, и она, обняв меня за шею, уютно устроилась у моей груди. И мне сразу нечем стало дышать, а сердце кувыркнулось и забилось с удвоенной энергией.

Я старался идти не быстро, чтобы не сбивалось дыхание.

– Я слышу, как бьется твое сердце, – сказала она.
– Еще бы, ты же лежишь прямо на нем.

Она засмеялась.

Не знаю, откуда брались слова, которыми я вдруг заговорил с ней с самого начала. Словно сказанное ею так ловко отражалось где-то в глубине меня, что слова приобретали явно двойной смысл и именно в этом новом качестве без всякого участия сознания мною и озвучивались.

И вот теперь, чувствуя сквозь тонкую ткань рубашки ее горячее тело и грудь, ее руку, которой она обнимала меня за шею, я уже знал, что в мою жизнь вторглось нечто серьезное и необычное. Нежный аромат незнакомых духов от ее волос кружил голову…

– Устал? – спросила Лина, когда мы наконец добрались до здания вокзала и устроились на скамейке рядом с входными дверями.
– Нет, было даже приятно, – признался я. – Не каждый день все-таки ношу женщин на руках.
– Ничего, – успокоила она. – Скоро научишься.
– Да? – удивился я, но ее слова меня почему-то задели. – Я найду занятие и получше…
– Кусаемся, да?

Она засмеялась и, притянув мою голову обеими руками к себе, поцеловала в губы.

– Спасибо, ты действительно очень хороший добрый мальчик.

Потрясенный, я молча пялился на исчезающее со звоном пространство. Мир, мгновенно перевернувшийся вверх тормашками, восстанавливался неспешно, постепенно возвращая на свои места серые стены, огромные пыльные окна, скамьи, людей, чемоданы…

Медпункт, как оказалось, вообще не работал, и я пошел в почтовое отделение. Адрес, данный Линой, меня удивил – Министерство обороны, генерал-лейтенанту Полетаеву Б.Н. лично. «А почему Министерство обороны?» – спросил я. «Это – военная тайна», – сказала она, улыбнувшись. «А такой короткий текст, какой ты заказала, будет похож на шпионскую шифрограмму». «Зато дешево», – справедливо заметила она. «Ладно, пошел сдаваться», – сказал я.

Отстояв небольшую очередь, я, как и ожидал, встретил недоверчивый взгляд насторожившейся почтальонши и должен был устно подтвердить адрес. Чувствуя на себе любопытные взгляды стоявших у окошка людей, я пошел на другую сторону вокзальной площади в магазин.

В довольно просторном помещении изобилием и не пахло – полки почти сплошь были уставлены

красочными банками с крабами и ананасами в кусочках и разными рыбными консервами, на большом эмалированном подносе громоздились соленые кильки, которых обороняла от мух свернутой в длинный жгут газетой продавщица.

«Мяса, рыбы, масла и колбасы нет», – сказала она, когда я, обойдя все полки, вернулся к кассе. У нее было лицо гробовщика, потерявшего смысл жизни. Я кивнул, как бы принимая информацию к сведению, и попросил два плавленых сырка «Дружба», двести граммов соевых конфет «Кавказские», бутылку лимонада и белую булку. «Только она вчерашняя», – предупредила продавщица. «Но есть можно?» – спросил я. «Захочешь есть, и кукиш съешь, – философски заметил она. – Вот шоколадка еще одна осталась, возьмешь?» – «Возьму», – сказал я.

На скамейке мы и перекусили тем, что я принес в газетном кульке. Из газеты сделали скатерть, лимонад я открыл перочинным ножом похмельного грузчика, присевшего по соседству. От сырков и булки Лина отказалась, а шоколад съела с удовольствием, по-детски облизав потом кончик каждого пальчика в отдельности. Стаканов не было, поэтому я по-рыцарски предложил ей первой пить прямо из бутылки. Но она уклонилась – привыкла пользоваться стаканом.

– Кстати, а как ты, такая красивая, оказалась у этой столовки на перроне? – спросил я. – Да еще не где-нибудь, а прямо напротив меня.

Она сморщила лоб и растерянно спросила:

– Что ты этим хочешь сказать?
– Думал, ты ради меня и пришла.
– Как это?
– Ну, ты же видела меня в окне вагона.
– Я тебя не видела! И вообще с чего ты это все взял?

Она раскраснелась, губы ее обиженно вздрогнули, и мне стало ее жалко.

– Извини, я пошутил!

Встав на одно колено, я склонил низко голову.

– Да ну тебя! – засмеялась она. – Сразу и не поймешь, шутишь ты или всерьез. Я спросила у официантки, где можно купить лекарство от головной боли. У Елизаветы Петровны, с которой мы ехала в купе, страшно разболелась голова.
– И она, конечно, ответила, что в Москве?!
– Почему? Она сказала, что недалеко от вокзала есть аптека. Вот там я и застряла.

Я рассказал ей о том, что видел и о чем думал, глядя из окна тамбура, о беженках – сестрах с двумя сыновьями-погодками, семь лет ждавших своих мужей-братьев с войны и боявшихся тронуться с места. И только в прошлом году им сообщили, что оба сгорели в одном танке. Но младшая сестра проговорилась, что она лишь из-за сестры осталась – давно бы уехала, потому что мужа не любила и сын вовсе не от него, а прижит от заезжего интенданта за мешок муки. Эта мука их, можно сказать, и спасла в жутко голодную зиму 43-го года. А если бы, сказала, по любви дала, то никого бы и не было, все бы сдохли – и грешные, и не грешные.

– О господи, ужас какой! – вздохнула Лина. – Ничего подобного никогда не слышала.
– А ты в каком вагоне ехала? – спросил я.
– В четвертом, мягком, он еще международным называется, хотя ни одного иностранца я там не видела.
– В таком вагоне такие истории не рассказывают, – заметил я. – Наверное, только о чистой и красивой любви.
– Почему – только? Мне Елизавета Петровна рассказала, что в рассказе Чехова одна женщина написала человеку, которого любила: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».
– Ну вот, я об этом и говорю…
– Ты не дослушал. Елизавета Петровна сказала, что она всю жизнь тоже ждала, когда человек, которого она любила, придет и возьмет ее жизнь, а он не пришел и не взял.
– Взял и использовал, но так, как было ему нужно, – не согласился я. – Она же всю жизнь, как ты говоришь, при нем оставалась со своей любовью. Какая-то нескладеха тут, вот что я скажу!
– Но она же любила!
– Ну и зачем же из-за этого жизнь свою отдавать? – недоумевал я. – Просто красивые слова, и только.
– Ну, хорошо… А что бы ты сделал, если бы получил такое письмо?
– Даже представить себе не могу, кто бы мог мне такое письмо прислать! И что бы я ответил, не знаю. Вот Лермонтов почему-то взял и шарахнул: «Делись со мною всем, чем знаешь, и благодарен буду я, но ты мне душу предлагаешь, на кой мне черт душа твоя».

Не знаю, что на меня накатило и почему я вспомнил именно это стихотворение, но уже в следующее мгновение понял, что по дурости взял и разрушил разговор, зачем-то нужный ей.

– Фу, какая пошлость! – вздохнула она и возмущенно повторила: – Нескладеха! И где только такое дурацкое слово откопал!

Она впервые на меня по-настоящему рассердилась и даже не попыталась этого скрыть.

Я подавленно молчал. И внутренний голос, который так часто ревизовал мои намерения и поступки, тоже заткнулся в тряпочку, понимая, видимо, что я уже не нуждаюсь в помощниках.

Но сердилась Лина недолго. Спросила: «Нам не пора?», я тут же вытащил из кармашка свои шикарные часы, она попросила их взглядом и, осторожно положив на ладошку, внимательно рассмотрела. «Какая прелесть! – сказала она, возвращая их назад. – Откуда они у тебя?» И за десять минут, оставшиеся до конца перерыва, я, прощенный и помилованный, с большим воодушевлением успел много чего рассказать и о часах, и о родителях, и о своих друзьях, и о себе тоже.

– Вот теперь ты обо мне почти все знаешь, – сказал я, вдруг ощутив в себе некую зудящую неловкость – как будто разделся и обнаружил, что стою среди множества одетых людей.
– Да, конечно, – согласилась она задумчиво, – но всего о себе даже сам человек не знает. И хорошо, иначе бы и жить дальше не захотел.

Я не нашелся, что сказать в ответ, хотя и соглашаться с таким мрачным предположением тоже не хотелось, и потому только промычал что-то невразумительное.

Начальник задумчиво сидел за большим обшарпанным столом, прикрыв глаза набухшими веками. С крупной лысой головой и почти до плеч утонувший в широком кресле, он издали напоминал бюст какого-то классика. Когда я заглянул, приоткрыв дверь, он подтянул ноги к себе и оказался просто большим и толстым человеком с недовольным лицом – видимо, я все-таки помешал ему переваривать пищу.

– Отставший, что ли? В каком вагоне ехал?
– В общем, жестком. А она – в мягком, международном.
– Кто это еще – она? – удивился начальник.
– Девушка из мягкого вагона. Она тоже отстала.
– Попутчица, значит. А где она?
– Там, – показал я на дверь. – Она ногу повредила, ей бы врача надо.
– Нет у меня тут врачей. Закрыт медпункт. Веди ее сюда, да быстро – у меня дела.

– И ты опять понесешь меня? – спросила Лина.
– Да, – сказал я, наполняясь чувством гордости и восторга. – И я опять понесу тебя.

Как жаль, что это была совсем недлинная дорога. Прижимая ее к груди, я вновь ощутил частое, гулкое и сладостное биение своего сердца, и снова мне не стало хватать воздуха…

– Я опять слышу твое сердце, – засмеялась она, откинув голову и заглядывая в мои глаза.

Я занес Лину в его кабинет, помог сесть на старый кожаный диван.

Лина произвела на начальника сильное впечатление, и он, отложив дела, решил заняться ее проблемами лично.

– Ну, это не страшно, – сказал он важно, осмотрев отек на ее ноге. – Сейчас я позову нашего умельца, и он быстро все поправит.
– Врача? – спросил я.
– Лучше врача, – коротко ответил начальник. – Он ремесленное окончил. Золотые, скажу вам, руки.
– Вы шутите?! – дернулась Лина.

Но начальник никак не среагировал на ее слова, нажал на кнопку коммутатора и приказал откликнувшемуся женскому голосу немедленно найти Василия.

Тот явился сразу же, словно стоял за дверью.

– Вот, – сказал начальник, показывая глазами на Лину. – Займись…
– Слушаюсь! – радостно отозвался бывший ремесленник, засучивая на ходу рукава синего халата. – Случай не смертельный, нет, а совсем обычный, банальный даже для скотинки, простите великодушно за неудобное сравнение.
– Ну, ты даешь, Василий! – вмешался начальник. – Сравнил божий дар, что называется…

Меня тоже покоробили его слова, но Лина засмеялась, и я понял, что она не боится этого говорливого лекаря с могучими волосатыми ручищами. Он и вправду внушал доверие.

– Связочки вы растянули сильно, – показал он, слегка прикоснувшись толстенным мизинцем к ее ноге, – больно? Сильно или не очень? И должно быть больно. Не в ту сторону нога пошла, но конечность цела, а это главное. Так что повезло, можно сказать. Юноша, вы, как полагаю, ее младший братик? Давай-ка сбегай, поищи мороженщицу – лед нужен. И полотенце, марлю, вату. А еще лучше – жгут.

Он поднял глаза на начальника.

– Ты что на меня смотришь? – возмутился тот. – Чего же ты с пустыми руками явился? Иди теперь ищи, что надо, – у меня тут не медпункт.

Мороженщицу я нашел на перроне. Она насыпала мне в коробку из-под обуви льда и дала комок свер-

А я думал о ее словах и о том, как стремительно сокращается время, отпущенное или, скорее, случайно доставшееся мне… И чувство собственного бессилия перед этим раскручивающимся маховиком, невозможности что-либо изменить, поглотило меня.

нутой марли: «Чистая, сама вчера стирала и еще не пользовалась. Она у меня вместо полотенца». Но не пригодилась – Вася принес и жгут, и полотенце, и кусок клеенки. И даже старую облезлую палку с наполовину сломанной ручкой. Хозяйственный мужик – все предусмотрел.

Минут через десять Лина с помощью палки и с моей поддержкой уже была способна передвигаться. Я получил полный инструктаж по уходу за больной: двое суток – покой, регулярно подкладывать толченый лед (где это я его, интересно, в поезде возьму?), время от времени повязку ослаблять, потом – теплые ванны и обязательно мазь (сразу забыл название, да это все уже без меня – мое дело сдать Лину тому, кто ее встретит!).

Она улыбалась, глядя, как Вася наставляет меня, используя ее обмотанную клеенкой ногу в качестве учебного пособия.

– Бедный мой мальчик! – сказала она, растрепав мою шевелюру пальцами. – Сколько забот сразу свалилось, ужас!

Но я был счастлив и не скрывал этого.

Все это время начальник стоя яростно сражался с телефонами, которые звонили почти непрерывно. Иногда он срывался, даже пару раз матюгнулся, забыв о нас, но потом извинялся перед Линой, говоря, что с этими балбесами иначе нельзя – они только этот язык и понимают. Работа у него была нелегкая и хлопотливая, и я только сейчас сообразил, что пригласить нас в свой кабинет в горячее время дня было с его стороны редкой любезностью, если не больше.

Наконец телефоны смолкли, он сел в свое кресло, расстегнув верхнюю пуговицу кителя. Вася ушел, мы тоже собрались уходить.

– Фу ты ну ты, – вздохнул начальник и вытер лысину большим платком. – Все в порядке?
– Да, спасибо вам, – сказал я, поднимаясь с дивана.
– А как вас зовут? – вдруг спросила Лина.
– Лукьянов, – ответил он не сразу. Видимо, она застигла его врасплох. Кашлянув смущенно в кулак, он поспешно пояснил: – Емельян Семенович.
– Я вам очень благодарна, Емельян Семенович, вы были так добры! А могу ли я у вас спросить…
– Я весь внимание! – сказал начальник, склонив голову и одновременно застегивая пуговицу на кителе.
– У вас есть связь с Москвой?
– Конечно.
– А вы не могли бы связаться с приемной генерала Полетаева? Это Министерство обороны.
– Связь у нас – служебная. Но в исключительных случаях…
– Я не буду сама говорить. Я напишу номер телефона…
– Да, да, – согласился начальник и потянулся к столу за блокнотом.

Аккуратно вырвал страничку, потом протянул карандаш. По всему чувствовалось, что он с первого взгляда понял, что имеет дело с птицей высокого полета, а просьба Лины и особенно пункт назначения звонка ввели его в некоторый даже ступор. Чуть согнувшись и выпятив пухлый подбородок, он напряженно смотрел, как она пишет цифры на листочке из его блокнота.

– Вот номер, – сказала Лина. – Мы послали телеграмму, но, боюсь, она еще не дошла, так что это для подстраховки. Просто скажите, что я застряла на вашей станции. И все. Это не займет много времени, да?
– Не извольте беспокоиться, все будет сделано наилучшим образом, – заверил начальник и потянулся к телефону.

Он не успел поднять трубку, как резко и гулко прозвучал длинный зуммер другого аппарата.

«Когда? Где? Пожарных вызвали? Жертвы есть? Сейчас буду! – Выпалив все разом на одном вздохе, начальник схватил со стола фуражку и рванул к двери. Обернувшись в створе двери, он сказал: –

Насчет звонка не беспокойтесь, я позвоню сразу же, как вернусь.

– Ах, дурак я, дурак, – разочарованно вздохнула Лина. – Надо было сразу с телефона начинать, здесь же не могло не быть телефона…

– Ты знаешь, – сказала она, когда мы оказались в зале ожидания, сумрачном из-за слабо горящей люстры. – Я что-то устала от всего этого – и от того, что упустила поезд, и от этого дурацкого вокзала, и от себя устала тоже… Куда еду, зачем еду? – И надолго замолчала, закрыв глаза.

А я думал о ее словах и о том, как стремительно сокращается время, отпущенное или, скорее, случайно доставшееся мне… И чувство собственного бессилия перед этим раскручивающимся маховиком, невозможности что-либо изменить, поглотило меня.

Я смотрел на тоненький, с волосок, сосудик, пульсирующий на ее шее и, глотнув комок в горле, крепко сжал веки…

Потом мы нашли свободный уголок в закутке у закрытого медпункта, и она прилегла на скамье, положив голову на мои колени.

Мне ужасно хотелось спросить ее, что она имела в виду, произнося эти странные слова, но она своим затянувшимся молчанием уже показала, что, наверное, жалеет о сказанном. И я заставил себя думать о том, что же все-таки произошло за эти несколько часов, все перевернувших и спутавших во мне – и вчерашнее, и сегодняшнее, и, может, даже завтрашнее, хотя какое, к черту, завтрашнее, если очень скоро кончится сегодняшнее и останется только вчерашнее, с которым и придется жить дальше. С каким-то невероятно острым чувством необратимости всего случившегося со мной вдруг осознал, что ничего, совсем ничего уже не будет, не надо обманывать себя. И вновь всплыли ее странные слова «куда еду, зачем еду», но теперь уже это были и мои слова…

– А как же насчет букета? Самого большого в мире? – вдруг спросила Лина. – Или забыл, что обещал?

– Нет, конечно! – бодро возразил я, и это была правда – я помнил об этом обещании и уже знал, что есть единственная возможность выполнить его – никаких других денег не было, все мои подорожные-резервные рубли были надежно спрятаны мамой под подкладкой чемодана и охранялись сейчас полузнакомой теткой в вагоне давно ушедшего поезда.

– У тебя же нет денег!

– Зато рядом с вокзалом есть небольшая сберкасса, – заметил я. – Всего и делов-то…

– Ты что?! – испуганно вскрикнула Лина и села, оглядываясь по сторонам. – Немедленно выбрось это из головы!

– Выбросил, – тут же согласился я. – Я пошутил.

– Не надо так шутить, – сказала она. – Давай будем считать, что ты ничего не обещал. И потом это действительно только и просто слова.

– Нет, не только и не просто, – возразил я. – Вот ты же вспомнила о них.

Лина скользнула по моему лицу чуть смущенным взглядом и отвернулась. После долгого молчания сказала, явно подбирая слова:

– Во-первых, я пошутила – я же знала, что у тебя нет денег. Во-вторых, я действительно не придала никакого значения твоему обещанию там, на перроне, и в-третьих… – Тут она споткнулась и через паузу повторила: – А в-третьих, ты все равно не поймешь ничего или поймешь совсем не то и не так.

И она замолчала.

Я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза.

Усталость брала свое, но я был слишком взбудоражен, чтобы дремать. Я стал думать о том, как мы поедем вместе в поезде, славно было бы попасть в вагон с хорошими проводниками и соседями, они помогут и перевязать ногу, и сделать компресс, и в другом тоже помогут – люди в поезде всегда становятся лучше и отзывчивее, и с голода там не помрешь, как я успел убедиться днями позже. Мне казалось, что прошла уже целая вечность с момента, когда я отпустил поручень вагона, а ведь и прошло-то всего ничего.

Я дернулся, чтобы взглянуть на часы, и мысли сразу потекли в другом направлении. Я нисколько не сомневался, что отец и поймет, и не обидится, если я ему все расскажу… Ну и что я ему расскажу, спросил я себя, и у меня, показалось, даже лоб вспотел от осознания того убийственного факта, что рассказывать мне нечего. Встретил, влюбился с первого взгляда, ну и так далее… Он, конечно, не скажет: «Ты дурак, что ли, или меня за дурака держишь?», как однажды сказал мне по случаю суровый дядя Миша, родной брат мамы, и все же…

– Ты любишь стихи? – спросила Лина, не открывая глаз.

А я -то думал, что она спит…

– Да, – сказал я. – Люблю.

И сам удивился, как странно, наверное, прозвучали эти слова для того, кто мог со стороны слы-

шать наши вопрос и ответ «ты любишь – люблю». Как объяснение в любви – вот что он бы об этом подумал.

– А сам пишешь стихи?
– Нет, не пишу, – соврал я, опять не моргнув. Стойкую, однако, обрел привычку!
– Странно…
– Почему ?
– Все в твоем возрасте пишут стихи. Правда – плохие.
– У меня есть товарищ, который пишет неплохие стихи, – возразил я. – Вот, например: «Что такое верность, Это откровенность, Это когда в сердце Не приходит ревность…»
– Это плохие стихи.
– Почему?
– Потому что верность – и не откровенность, и не отсутствие ревности. Да и весь стих – как список товаров в магазине.

Я подумал и согласился с ней, хотя Костя с этим стихотворением и блистал в литературном кружке института. Девушки переписывали его в свои альбомы. Но я об этом, конечно, не сказал. И правильно, что не стал читать свои стихи, – Костя все-таки писал лучше меня.

– Ты права. Я прочитал первое, что пришло в голову.
– Это не страшно. Не все первое бывает лучшим… Прочитай мне не неплохие, а хорошие стихи. Ну, из самых твоих любимых..

И я стал читать стихи запрещенных тогда Цветаевой, Ахматовой и Ходасевича. Мой товарищ, старше меня на пару лет, учился в Литературном институте, привозил их из Москвы и, взяв с меня слово, что я не буду ничего копировать и переписывать и никому никогда не расскажу об этом, давал мне на одну ночь напечатанные на папиросной бумаге с едва угадываемыми строчками шестые, седьмые машинописные копии сборников. Пряча от родителей, я читал их ночами и старался побольше заучить наизусть.

Я запомнил много стихов и прочитал Лине почти все, и мне не было стыдно за то, что я нарушил данное товарищу слово. Без раздумья я доверил ей не только свою жизнь, но и жизнь другого человека, а может, и не одного. Я знал, что за это могут выгнать из института и комсомола, как выгнали наших двух старшекурсников за нечто подобное.

Лина ни разу меня не перебила, она лежала с закрытыми глазами, и я снова подумал, что она заснула. Но она не спала.

– Счастлив, кто падает вниз головой: мир для него, хоть на миг, но иной. – Она села и повторила строки из стихотворения Ходасевича. – Кто такой этот Ходасевич? Я не знала такого поэта.
– Я тоже. И единственное, что знаю сейчас, – стихи, которые тебе прочитал, и еще – что он эмигрировал после революции в Германию, там долго жил и там же умер…
– А где ты нашел тогда эти стихи? – спросила она.
– А это – военная тайна, – улыбнулся я.

Теперь у нас у каждого по две военных тайны. И мы должны их сохранять.

– Да? – серьезно спросила она.
– Да! – сказал я так же серьезно.
– Но мне эти две строчки помогли кое-что понять…
– Куда и зачем?

Она взглянула на меня каким-то странно сосредоточенным взглядом и сказала:

– Может быть, это, – и через паузу, – а может, что-то и другое. Спасибо, что ты мне это прочитал. Я постараюсь запомнить.

Я хотел сказать, что было бы лучше, если бы она быстрее эти стихи забыла, но появившийся начальник вокзала прервал наш разговор.

– Ах, вот вы где! – сказал он почти радостно. – Ну вот что…
– А что там случилось? – прервал я его не очень вежливо.
– Где? – удивленно спросил начальник.
– Ну, там, куда вы побежали…
– А-а, там ничего особенного, разобрались, – равнодушно отмахнулся он, дав мне понять, что это не моего ума дело. И тут же переключился на Лину. – Ваше поручение выполнено. Информация передана и получена. На все вопросы отвечено. И вам привет. Ваш поезд будет через два часа, но в нем места только в общем, да и то в разных вагонах – в начале и почти в конце. Зато в следующем, из Челябинска, есть свободное купе в мягком. Я его зарезервировал. Правда, придется подождать часа три, не меньше. Как нога, не болит?
– Когда лежу, не очень, – сказала Лина.
– Ну и ладно. У нас тут гостевая освободилась, там вам будет удобнее. Вася вас перевезет…
– Спасибо! – возразила Лина. – У меня ведь есть кому помочь, и есть палочка.

Что-то все-таки произошло с нашим начальником за то не очень долгое время, пока мы его не видели, – он стал вроде бы стройнее, собраннее и даже говорить стал иначе – короткими, обрывистыми фразами, как военный. И к Лине обращался уже не просто как к красивой девушке… «Кто же она

такая, если этот совсем немолодой человек, к тому же, видимо, воевавший, после звонка в Москву вдруг становится другим?» – подумал я и поймал себя на мысли, что сам ничего о ней не знаю – ни фамилии, ни чем занимается, ни откуда едет, ни где живет… Как же так получилось, что она обо мне знает все или почти все, а я – вообще ничего, кроме фамилии генерала? Болтун несчастный! Представляю, что она обо мне теперь думает!

Так, мучимый сомнениями и вопросами, я и прошествовал, бережно поддерживая Лину, в другой конец зала ожидания.

Гостевая оказалась большой комнатой с двумя диванами и креслами, красно-синим ковром на полу, длинным и узким комодом с зеркалом, шкафом для одежды. Был, конечно, и туалет, и холодильник, и много еще чего из скромных радостей жизни, как говорила моя мама.

– Здорово! – сказал я, осмотревшись. – Вот бы где надо было сидеть начальнику, а не за облезлым столом в его конуре.
– Ему не положено, – коротко ответила Лина и попросила подвести ее к комоду.

Широкое зеркало отразило нас вместе – ее, худенькую, с бледным, словно осунувшимся личиком и темными глазами под высокими дугами бровей, и меня, неприлично здорового амбала, на голову ее выше, со скуластым хмурым лицом и оттопыренными красными ушами… Я тут же стыдливо отстранился в сторону, чтобы не маячить перед ее глазами, а она стала разглаживать пальцами веки и лицо.

– Знаешь что, – сказала она, обернувшись, – если ты не возражаешь, я бы привела себя в порядок. Погуляешь где-нибудь?

Меня это очень даже устраивало, и я с радостью принял ее предложение.

– Ты хочешь что-нибудь вкусненького? – спросил напоследок.
– Разве фруктов каких… – задумчиво произнесла она и тут же оборвала себя. – Эй, эй, чего ты еще надумал? – И погрозила мне пальцем. – Никаких фруктов!
– Ну, на одно яблоко-то у меня мелочь есть, – заверил я.
– Только разве одно, – согласилась она и улыбнулась.
– Тебе часа хватит?

Я рассчитал, что этого времени мне будет достаточно.

– Часа? Мне-то хватит, а ты чем займешься?
– Погуляю по городу, поглазею, покумекаю…

Она покачала головой, но ничего не сказала, и я пошел выполнять задуманное.

Я побегал по вокзальной площади, потом – по вокзалу, но желающих купить часы не оказалось: люди подозрительно смотрели на меня и отворачивались, едва я открывал рот.

«Ворованные небось, – бросила вслед одна старушка. – И куда тут милиция смотрит…»

Только милиции мне и не хватало.

Я пошел обратно на перрон.

Народу там было негусто и ошибаться нельзя: стоит раз промахнуться – и могут засечь.

Навстречу шел носильщик с пустой тележкой. Большой, сильный, побритый и аккуратно одетый, он показался мне подходящим клиентом.

– Товарищ, не купишь у меня часы? – спросил я, остановив его.
– Украл, что ли? – спросил он добродушно, с интересом разглядывая мои часы.
– Отец подарил, – сказал я без обиды.
– Серебряные, тут и надпись еще. Это кто – Савельев Иван Дмитриевич?
– Отец.
– Значит, ты…
– Ага. Алексей Иванович.

Он продолжал крутить в руках часы, поглядывая изредка на меня смеющимися глазами.

– Значит, его наградили, а ты их продаешь. Отец не обидится?
– Я ему объясню, и он поймет.
– Я бы не понял, если бы у меня был сын, и обязательно выпорол его ремнем. – И зачем-то пояснил: – Но у меня дочь.
– Он поймет, – повторил я и протянул руку за часами.
– Ладно, – сказал он после раздумчивой паузы. – Так тебе очень надо?
– Да. – Я не стал объяснять, почему, – это его не касалось.
– У меня с собой немного. Часы стоят раз в десять больше. Не пожалеешь?
– Не пожалею, – ответил я и взял протянутые им деньги.

Лина была права: я плохо знал себя! Мог ли я представить несколько часов назад, что сознательно отстану от поезда и буду метаться по вокзалу и около, помогая незнакомому мне человеку, а потом продам отцовские часы, которыми он очень гордился и дорожил, чтобы купить цветы, – какой, в общем-то, бессмысленный жест, если смотреть

со стороны! Но я так смотреть на себя не умел и не хотел и потому ни на мгновение не усомнился в том, что все сделал правильно.

Я засек время на привокзальных часах и двинул в сторону базара.

Я шел за цветами. За самым большим букетом цветов, которые только найдутся там. Но на базаре цветов не было. Вообще никаких. Там продавали все, кроме цветов.

Скучающий милиционер подсказал, где можно купить хороший букет и фрукты – только в городе, в магазине или на центральном рынке. «А где это?» – спросил я. «Полчаса пешком и десять минут на машине», – ответил он.

Машина нашлась в двух шагах от ворот рынка, водила оказался толковым и нежадным, и мы обернулись минут за сорок.

Я шел к дверям вокзала с таким большим и роскошным букетом, что местные жители будут вспоминать об этом чуде, наверное, не один год.

Так я думал, гордясь тем, что купил все цветы, которые нашлись в цветочном ряду.

– На свадьбу, что ль? – спросила одна из теток, ошалевших от упавшей на их головы удачи за полчаса до закрытия рынка.
– Ага! – соврал я с легкой душой, потому что впервые в жизни покупал так много красивых цветов.
– Ишь ты! – восхитилась тетка и звучно высморкалась в мятый платок. – Любишь, значит, если таких денег не пожалел…

Кроме яблок, никаких фруктов не нашлось, но старый узбек в полосатом халате смастерил из желтой оберточной бумаги кулек, куда аккуратно сложил сушеный урюк, три косички вяленой дыни и полкило орехов. Фундук был похож на наши лесные орехи, а об арахисе я и не слышал, но на пробу они показались мне вкусными. Кулек по моей просьбе он крест-накрест перевязал толстой бечевкой, чтобы можно было подвесить его на палец, – букет был такой большой, что мне пришлось держать его двумя руками.

Так и шел я по привокзальной площади, уткнувшись носом в цветы и выставив перед собой желтый кулек, висящий на большом пальце левой руки.

Гостевая оказалась закрытой.

Постучал ногой, никто не откликнулся.

Никого из работников вокзала рядом не было, а искать их в зале я с таким грузом не мог. Наверное, у начальника, где еще она могла быть, подумал я и двинул туда.

Люди на меня оглядывались, но мне было на это плевать.

Дверь в кабинет начальника была раскрыта нараспашку.

Я с трудом дождался, когда уйдут толпившиеся у стола посетители, и встал в проеме двери.

Начальник поднял голову и уставился на букет.

– Это еще што за явление? – проговорил он устало.
– А где Лина? – спросил я, заглядывая попеременно в правый угол, где стояли два стула, и в левый, где громоздился шкаф для одежды.
– Уехала, – сказал начальник, вытирая лысую голову большим платком. – Десять минут назад.

«Везет же мне сегодня на носовые платки», – мелькнула и исчезла дурацкая мысль, пока я медленно осознавал сказанное хозяином кабинета.

– Куда?
– Капитан из нашей воинской части забрал и повез на свой аэродром. Сказал, там самолет скоро в Москву полетит. Больно уж адъютант генеральский беспокоился, что да как. Значит, было зачем, если самолетом.
– А где эта воинская часть? – спросил я с отчаянной надеждой, что не все еще потеряно.
– Где и расположена – там.
– А как туда добраться?
– Так кто тебе добраться туда разрешит? – удивился начальник. – Ты что – на Луне родился?

Потом задумчиво погладил свою отполированную голову классика и, взглянув на меня понимающе, добавил:

– Вот так-то: прилетела – улетела, и как не была. Или не понял еще?

Не понял.

Не понял, почему она уехала, не попрощавшись со мной.

Почему уехала, не оставив даже записки.

Не понял, стоя там, у дверей кабинета, и сидя потом до сумерек на той самой скамейке, где все началось и где я оставил не нужный уже букет и кулек с фруктами.

Не понял и в вагоне поезда, идущего в обратную от Москвы сторону.

И не понимал еще много лет спустя, тоскуя по утраченному.

Прилетела – улетела, и как не была?

Черта с два!

Со мной остался нежный запах ее духов, но и сама она нет-нет да и возникает передо мной такой, какой я увидел ее в первый раз. В легком цветастом платьице, с чистым улыбчивым лицом, опушенным

прядями русых волос, худенькими плечами с накинутым на них красным шарфиком и пронзительно синими глазами.

И тогда я отчетливо слышу ее тихий голос, печально спрашивающий у самой себя: «Куда еду, зачем еду?»

Я не должен был ее искать, но искал вопреки здравому смыслу, цепляясь за единственную ниточку, которая была у меня. И знал, что пока она существует, я не успокоюсь. Мысль воспользоваться этой ниточкой превратилась в конце концов в навязчивую идею, и я написал письмо генералу Полетаеву с просьбой о личной встрече. Ничего умнее, как объяснить ее необходимость желанием уточнить некоторые обстоятельства военной биографии отца, награжденного именными часами самим командующим армии, я придумать не смог. Не называя никаких фамилий и конкретных фактов, кроме награждения, я никого не подставлял, а при встрече мог бы спросить и о Лине. Конечно, я рассчитывал на высокую должность генерала и его доброжелательность по отношению к бывшим фронтовикам. В общем, как я полагал, не ответить на письмо он не мог.

Я ошибся. Ответа я так и не получил.

Так оборвалась эта единственная ниточка.

Но…

Однажды на Тверской, проходя мимо парфюмерного магазина, я уловил аромат духов, который мгновенно вернул меня на тридцать лет назад.

Посетителей в магазине было немного, я довольно бессмысленно бродил вдоль полок, пока ко мне не подошла миловидная девушка.

– Вы что-то ищете, вам помочь? – спросила она.
– Вряд ли вы сможете мне помочь, – сказал я. – Мне послышался аромат, который о многом напомнил. А может, мне просто показалось…
– Ну почему же? – возразила она. – Я читала, запахи действительно хранят воспоминания. Вот индейцы майя, например, даже делали специальные коробочки для разных запахов, чтобы вспоминать счастливые моменты своей прошлой жизни.

Она очень серьезно все это сказала, не отрывая глаз от моего лица.

Так смотрела Лина, и мне захотелось еще с ней поговорить.

– А сколько этих запахов вообще? – спросил я первое, что пришло в голову.
– Очень и очень много! – тихо воскликнула она, округлив глаза. – Французы, а они лучшие парфюмеры, считают – больше восьми тысяч.
– Это действительно много, – согласился я.
– Но я лично думаю, что их значительно больше, – добавила она, глядя на меня глазами Лины.
– А скажите, милая девушка, нет ли среди этого множества запаха первой любви?

Несколько секунд она растерянно молчала, потом тихо спросила:

– Вы шутите, да?

И в голосе ее прозвучала знакомая мне интонация. Ну, не наваждение ли?

– Нет, я не шучу. Он есть, и раз услышанный, помнится потом всю жизнь.
– Я не знала, нет, не знаю, что это может быть…
– Вы – счастливый человек, – сказал я, – вам это еще предстоит узнать. Спасибо вам.

И ушел, чувствуя на спине ее недоуменный взгляд.

СЕМИНАР АНАТОЛИЯ КОРОЛЕВА В ЛИТ-ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Рад представить читателям журнала «Юность» три рассказа студентов моего семинара прозы в Литературном институте имени Горького.
Рад, что «Юность» пошла навстречу юности.
В последние годы конкурс поступающих в Литературный институт зашкаливает. Семь человек на место, а на поэзию – все десять! По этому показателю наш институт вышел в лидеры среди вузов столицы, потеснив, например, филфак МГУ, ВГИК, МАРХИ и сравнявшись с престижной Высшей школой экономики и с техническим университетом имени Баумана. Для меня самого этот ажиотаж – загадка, ведь в наше время профессия писателя тебя практически не кормит и сулит тревожную неустроенную судьбу.
На мой взгляд, сегодня молодому писателю / поэту / драматургу намного сложней, чем было мне в годы далекого советского старта. Оказалось, что диктатура прибыли намного более жестко контролирует нашу судьбу, чем пресловутая цензура или какой-нибудь там райком партии… Увы.
Три автора отчасти тому пример.

Самый сложный зигзаг описала судьба Марии Звенигородской, приехавшей в Москву из Сибири (рассказ «Лидочка»). Окончив институт, она долго искала работу, пока не прошла жесткий конкурс в «Аэрофлот» (вам нужно сделать прокол носа!) и не стала бортпроводницей на авиарейсах компании. Но полеты оказались слишком тяжелой нагрузкой, и сейчас она работает на земле, отвечает на письма пассажиров и прирабатывает продавщицей цветов в магазине у дома, чтобы хватило денег платить за съемную квартиру.
Внешне более благополучна судьба выпускницы Валентины Малец (рассказ «Иванов день») – она из пригорода столицы, первое время работала в местной газете, а сейчас преподает в школе. Екатерина Иосифова (рассказ «Хорошая квартира») еще учится – на заочном. Я попросил ее написать, где она работает и чем занимается. «Анатолий Васильевич, – написала Катя, – о себе могу сказать, что сейчас работаю копирайтером-креатором в диджитал-агентстве…» Что это такое, каюсь, я не понимаю.
Пожелаем успехов трем авторам, для которых эта публикация в «Юности», по сути, дебют!

Анатолий Королев,
писатель, доцент кафедры литературного мастерства
Литературного института имени Горького,
руководитель мастерской прозы

ИВАНОВ ДЕНЬ

РАССКАЗ

ВАЛЕНТИНА МАЛЕЦ

Темная ночь опустилась на притихшую деревню. Большая круглая луна свысока смотрела на маленькие дома, заливая их светом. Дым не валил из печей, как бывало зимой. Одинокий ветер шагал по верхушкам деревьев и нежно трепал их зеленые, тонкие ветви. Волки, чувствуя себя хозяевами леса, громко и протяжно выли. Их было ровно двенадцать – деревенские мальчишки ради забавы пересчитывали их по голосам, все они были совсем разные. Взрослых эта свора уже не пугала. Волки бродили около деревни, но не пытались напасть. «Леший им выйти не дает», – говорили местные.

Собаки собрались в стаю возле плетня, вторя им, пока дверь избы не распахнулась и из дома не вышел человек. Он прикрикнул на распалившихся псов, те замолчали и, тряся облезлыми рыжими хвостами, затрусили прочь по протоптанной деревенскими жителями тропинке. Молодой парень закрыл толстую деревянную дверь и тихо, аккуратно, чтобы не разбудить меньших ребят, сел на лавку рядом со сгорбившейся над лучиной старухой. Напротив нее сидел мальчишка лет десяти с золотистыми непослушными кудряшками и жадно ловил бабушкины слова.

– Бабушка, правда, что в ночь на Ивана Купалу можно цветок папоротника найти? – шепотом спросил мальчик.
– Можно, чего ж нельзя, – отвечала старуха, – отец твой сыскал цветок.
– Как? – удивился внук.
– Все праздновали, а его вдруг в лес потянуло. Глядим: после полуночи к костру возвращается. Шатался, как хмельной. На следующий день ушел, ничего не сказал. А через неделю, говорят, его в городе видели. Одетый был, как барин.
– Бабка, чего ты мальчишке голову морочишь? Поди уж, – прокряхтел с печи дед.

Он перевернулся на другой бок и снова захрапел, а старуха продолжала:

– Цветок этот дает человеку силу неведомую. Тот, кто сорвет его, сможет разговаривать с животными на их языке, видеть клады, владеть духами нечистыми, повелевать водой и землей, становиться невидимым, любое обличье способен принимать. Чтобы сорвать этот цветок, нужно в ночь на Ивана Купалу очертить круг ножом и прочитать молитву. Сорвавши цветок, нужно спрятать его за пазуху и бежать без оглядки.

Парень улыбнулся и махнул рукой:

– Ну и сказки ты сказываешь. Спать ужо пора.

Лучина, в последний раз встрепенувшись, поникла. Старуха влезла на лежанку, а парень и мальчишка – на лавку. Собаки выли уже на другом конце деревни, отовсюду гонимые. Большое серое облако

вдруг ненадолго укрыло луну, потом незаметно исчезло в черном небе.

После второго крика петуха деревня вздохнула, встрепенулась и ожила. Потянулись бабы с коромыслами и ведрами к реке. Но воду черпали аккуратно, боясь потревожить нечистые силы. Коровы покорно ожидали, пока теплые женские руки добудут парное молоко и его запах разольется по всему хлеву. В избах собирались большие семьи за столом. Все угощались сырниками, ели овсяный кисель и пили компот. Солнце пекло лениво, моргало большим желтым глазом. Собаки, ночью тревожившие покой, спали в тени диких вишневых деревьев. Неспешно шла подготовка к празднованию Ивана Купалы. Со всей деревни стаскивала молодежь к берегу речонки хворост, из которого устраивали пирамиду. В центре нее возвышался шест. Мальчишки насадили на него смоляную бочку. Девушки плели венки из дубовых и березовых веток, пели песни. Еще до заката сошлись все на праздник. Солнце клонилось за горизонт, догорало на синем небосводе. Вечером разожгли огромный костер. Водили хороводы, парами прыгали через непослушный огонь. Злата не решалась прыгнуть одна. Она почувствовала на себе взгляд и обернулась. В стороне стоял парень, облокотившись о дерево, и пристально смотрел на девушку. Она сразу его узнала и подошла.

– Красивый у тебя венок, Злата, – ласково сказал парень.

На его лице отражались тени от языков пламени.

– Венок как венок, – смутилась девушка, – а ты чего тут, в сторонке стоишь?
– Да так. Дело к тебе есть.
– Какое же? – насторожилась Злата.
– Хочу, чтоб ты замуж за меня вышла.
– Ваня, – девушка ахнула, – ты что? Отец не разрешит. Ты… – Она запнулась.
– Ну!
– У вас в семье и без того забот много. Кормильца-то нет, а детишек вона сколько.
– Так я кормилец! – возмутился Иван. – Ты за это не переживай, все добуду!
– Я верю! Но отец не разрешит, а я против его воли не пойду, ты знаешь.

Злата опустила глаза. Доносились до речки слова, стлались по водной глади и бесследно растворялись в ней. Подружки уже потеряли девушку и звали ее обратно к костру. Она виновато улыбнулась, поправила венок и ушла к ним. Ивану стало совсем не до веселья. Он посмотрел на чернеющий гребень леса. Вдруг вспомнились ему бабкины слова о цветке папоротника. Они снова вызвали улыбку, но Ване это уже не казалось сказкой. «А что, – думал он, – если я найду цветок?» Иван вернулся домой, взял дедов нож и пошел в лес. На берегу костер разгорелся пуще прежнего. Вокруг него стоял визг, хохот. Все это осталось позади. Лес был немой. Идти приходилось осторожно. Но Ваня не раз был в этих местах, он помнил и о волках, и о болоте, которое ждало его впереди. Дальше него Иван идти не собирался, а решил, что как только болото будет перед ним, он развернется и пойдет обратно. Зато докажет всем свою храбрость, все ему нипочем.

Так бродил он с полчаса. Лапы елей свисали над головой. Иногда попадались поваленные стихиями старые стволы сосен. Лесная тишина давила и навевала страх. Вскоре ему надоело бродить по мшистым тропам, и он решил возвращаться назад. Внезапно подул легкий ветерок. Вдали меж деревьями показался маленький, яркий огонек. Голосов слышно не было, дым от костра не шел. По-прежнему было тихо. Ваня, словно мотылек, поддался огоньку и направился к нему. Сияние росло. Иван чувствовал под ногами протоптанную тропу, но не помнил, чтобы она была в этой чаще. Парень решил, что заблудился. «Понес же черт посреди ночи!» – вслух выругался Иван. «Никого не нес! Ты сам пошел!» – раздалось сзади. Ваня вздрогнул. Он уже хотел повернуться, но что-то внутри шепнуло: нельзя, иначе нечисть к рукам приберет. Иван, собравшись с духом, пошел дальше. Преследователь не отставал. «Ваня! – раздался крик в чаще. – Ваня, помоги!» Голос Златы был хриплым и словно ненастоящим. «Проделки нечистой силы!» – подумал Иван, продолжая идти. Сияние стало сильнее, Ваня раздвинул кусты и вышел на поляну. Лунные лучи падали, освещая куст папоротника. Парень подошел ближе и увидел маленькую почку. Он хотел ее коснуться, но она вдруг отпрянула от руки, прыгнула в сторону. Ваня пытался поймать, но почка прыгала вправо, влево, вверх и вниз, словно кто-то, играясь, водил ее. Тут Иван вспомнил бабкины наставления: начертил ножом вокруг себя и папоротника круг и стал молиться, дожидаясь полночи. Почка вдруг застыла.

Было так тихо, что голос Вани разносился по всей поляне. На опушке возник белый силуэт. Он будто смотрел сквозь парня, не видя его. Призрак начал увеличиваться, приближаться. Подняв глаза, Ваня увидел перед собой тощего мертвеца. Он держал в руках свою голову. «Кто здесь?» – спросила голова, вращая глазами. Парень дрожащим голосом продолжил чтение молитвы. «Это мой цветок!» –

вопил мертвец. Вдруг на поляне из ниоткуда появился огромный, со свисающими на глаза космами, старик. У него была борода из лишая, обросшее мхом лицо, а кожа казалась деревянной. «Что тут происходит? Кому понадобился мой цветок?» – громко закричал он, так что у Вани на лбу выступила испарина. Мертвец замолчал и подошел к лешему, хозяину леса.

В это время из-за огромной тучи вышла луна. Из почки показался маленький цветочек. Он начал расти и с каждой секундой становился все больше. Цветок горел, словно пламя, вырывающееся из горящего угля. Ровно в двенадцать часов раздался сильный треск, цветок расцвел. Его сияние на мгновение ослепило Ивана, но он вытащил нож и ловко срезал цветок. Луна вновь скрылась. Всю поляну заполонили черти. Леший разъяренно выл и клацал зубами. Парень схватил цветок и без оглядки побежал обратно. Вся нечисть, собравшаяся на поляне, во главе с лешим кинулась за Иваном. Он бежал, проклиная себя. В лесу стояла непроницаемая тьма. Ваня был так напуган, что напрочь забыл обратную дорогу. Но цветок, который он держал за пазухой, будто придавал сил. Тьма сменилась густым туманом. Вокруг булькала вода. Когда Иван понял, что он влез в болото, было уже поздно. Парень оступился, и жадная трясина начала затягивать его. «Погиб!» – пронеслось у него в голове.

В лесу снова воцарилась тишина. Туман расступился перед темнотой. Все вокруг было неподвижно.

Через несколько дней местные ребятишки нашли возле болота нательный крест.

Весть о том, что пропавший Иван утоп, разнеслась тут же. Старуха все время причитала. Дед ходил хмурый. Сразу после праздника начался сенокос. Деревенские жители старались помочь старикам, оставшимся без старшего внука.

Собаки больше не лаяли по ночам. Только волки тянули свои песни. Ребятишки, как обычно играя, насчитали тринадцать волков.

ХОРОШАЯ КВАРТИРА

ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВА

В комнате стоял крепкий запах старости. Даже в морозный день при распахнутых окнах он никуда не пропадал. В двери всегда торчал ключ, потому что ручки не было: на ее месте зияла дыра. В солнечные дни через круглый проем по паркету летел луч, разрезая коридор надвое.

В комнате жили хозяйские вещи. Иногда они шуршали и ерзали на полках, а однажды разбушевались так, что сбили со стены картину.

Раньше тетушки Тамара и Лена жили здесь с мамой-географом и папой-архитектором. В экспериментальном районе Чертаново в передовой капиталистической стране. Летом у них были семейные съезды: все двоюродные, троюродные и четвероюродные братья и сестры приезжали в деревню под Тверь. В их число как-то попал и мой дед.

Так и получилось, что, полвека спустя, переехав из Питера в Москву, я оказалась в их квартире. Большой и пустой.

Пожилые сестры съехали отсюда лет пятнадцать назад, после смерти матери. Они продолжили жить вместе, но на соседней станции метро. Дом детства, который несколько раз сдавался под съем, последние годы до моего приезда пустовал. С тех пор как мэр обязал всех арендодателей регистрироваться и выплачивать налоги, тетушки опасались чужих квартирантов.

На птичьих правах и за небольшую плату я поселилась в трехкомнатной квартире с балконом и видом на Битцевский лесопарк. После общежития оказаться одной в девяноста квадратах было головокружительно. Но эйфория быстро прошла.

Как-то я передвинула диван к стене и обнаружила под ним детскую игрушку. Полгода спустя я буду стоять перед захлопнувшейся дверью без ключей. Соседка, от которой я буду звонить, расскажет, что в похожем положении как-то оказалась моя предшественница. Она вышла выбросить мусор, оставив на минуту годовалого ребенка, когда дверь захлопнул сквозняк. Девушка пятый час плакала на коврике и через замочную скважину общалась с пупсом на момент возвращения моей собеседницы с работы. После этого инцидента молодая семья быстро съехала. Каждый раз потом находя погремушки и книжки (набралась целая коллекция!), я представляла, как мать в истерике спешно пакует сумки и уезжает к родителям, лишь бы не находиться в этом ужасном месте, которое так сильно ее напугало.

К слову, сквозняки здесь были постоянно. Иногда по подъезду тянуло так сильно, что я не могла открыть входную дверь, не навалившись на нее всем телом. Стуки, скрипы, душераздирающие крики по ночам на темной аллее. Эти вопли напоминали другой случай, которым поделилась со мной местная жительница на прогулке.

– Пару лет назад здесь произошла жуткая история, – сели мы с ней на лавочку. – Молодая де-

вушка поздним вечером пошла выгуливать шпица. По пути ей встретился парень, он нес в руке поводок и озирался по сторонам. Он подошел и спросил, не видела ли она здесь маленького бигля, объяснил, что его пес выскользнул из шлейки и убежал. Естественно, девушка развела руками и завертела головой в разные стороны, еще раз оглядывая окрестности. Но тут-то парень накинул ей на шею поводок, туго затянул и потащил в кусты. Пока он ее насиловал, мохнатка побежала к дому. Собачонку узнали соседи и привели хозяевам – родителям девушки. Те сразу поняли, что что-то нехорошее случилось, побежали в парк, нашли ее без сознания, побитую, но живую. А преступника так и не поймали.

Порой мне казалось, что преступник этот – мой сосед Олег. Олег был рослый интеллигентный осетин, полысевший после пятидесяти. Он носил очки, платочки, цветастые рубашки и пальто и очень напоминал актера Стэнли Туччи, который, к слову, играл соседа-убийцу в одном небезызвестном фильме.

Познакомились мы с ним странно. Я вышла из квартиры и стремительно полетела к лифту, опаздывая на работу, а он стоял возле своей двери в противоположном конце коридора. Завидев меня, Олег преградил руками путь.

– Девушка, здравствуйте!
– Доброе утро, – скорее спросила, чем сказала я.
– У меня тут проблема: я вернулся с работы раньше обычного и теперь не могу зайти в квартиру. Я думаю, что там кто-то есть. Кто-то держит дверь. Я вызвал полицию. Постойте со мной, пожалуйста.

Как-то в начале нулевых мама так же раньше вернулась со мной с прогулки и обнаружила, что замок не поддается ключу. Она приложила ухо, как вдруг дверь распахнулась и оттуда выбежало пятеро парней в масках, один из которых помахал ножом перед ее лицом. Тогда нас ограбила молодая шпана из Кронштадта. Они собрали нашу технику в наши же холщовые сумки, которые нашли на антресолях и в кладовке, выставили в коридор, но унести не успели. Только золотые украшения, распиханные по карманам, остались добычей. Спустя полгода их нашли по следу – один из парней оставил отпечаток ботинка на ярко-желтой папке с моими песенками. Главарем банды оказался несовершеннолетний сын начальника следственного комитета, который лично приехал вернуть маме драгоценности и принести извинения.

– Вы знаете, если там действительно кто-то есть, то мне бы не хотелось быть свидетелем того, как они на вас нападут, и попасть под горячую руку. Что, если они сейчас выбегут?

Пока я говорила это, Олег вновь подошел к двери и прислушался. Он показал мне ключ, вставил его в замок и демонстративно прокрутил несколько раз. После взялся за ручку и вдруг... дверь открылась. На секунду он загрузился, а потом резко ее захлопнул.

– Нет! Я туда один не пойду. Я не хочу проверять. Вдруг они затаились и выжидают. Наряд уже едет. – Олег не на шутку испугался.
– А долго они едут?
– Сказали, десять-пятнадцать минут, ну вот как раз уже на исходе.

Пока мы стояли у лифтов, Олег расспросил меня, чем я занимаюсь, и рассказал, что его мама тоже учительница русского языка и литературы. Кто он – не сказал. Двери кабины открылись, оттуда вышли уставшие полицейские. Олег засуетился, я уехала.

После этого мы с ним пересекались неоднократно, чаще всего по утрам в метро – когда я ехала на работу, а он бежал домой. И каждый раз Олег звал меня гулять вечером по аллеям. Тем самым злополучным аллеям... Он говорил, что ему нужно обсудить со мной какой-то важный деловой момент. Что я же занимаюсь литературой, я же редактор, а ему очень нужен редактор. На прямые вопросы он не отвечал и лишь загадочно вращал глазами.

Однажды ко мне приехала на три недели мама с младшими сестрами. В первый день я оставила их утром спать дома, договорившись после работы встретиться в Парке Горького.

– Кто такой Олег? – спросила мама вечером.
– Сосед Олег?
– Да. Он увидел нас сегодня и очень смутился. Сказал: «Но здесь живет молодая девушка, Катя, она редактор. Мы договаривались пойти гулять. Где она?» Я сказала, что я твоя мама, он сразу стал любезничать. Проводил нас до метро, объяснил, как ехать. Вообще любая мать бы насторожилась, что за ее дочерью ухлестывает какой-то подозрительный тип. Моя бы мама ему все высказала!
– Но ты не высказала?
– Нет, я же не моя мама...
– Ну да... Вообще он очень странный, настораживает меня. Но ничего не делает. Максимум – он дал мне свой номер на какой-то «всякий случай», но мой не спросил. А это уже не так подозрительно.
– Он какой-то пугающий.
– Есть немного. Но вроде как безобидный.

Мы зашли в парк и двинулись вдоль набережной, как вдруг из кустов на нас вышел – ну кто же еще – Олег.

– Опять вы! – улыбнулся он и пожелал хорошей прогулки.

Мы с мамой в ужасе переглянулись.

Впрочем, главным ужасом, конечно, были тетушки, которые не слышали про личные границы и приходили проверить квартиру когда им вздумается. Как-то я принимала ванну в начале одиннадцатого вечера, как вдруг ключ в двери провернулся и в прихожей послышался топот. Я побоялась, что забыла закрыться и приманила Олега.

Выскочив из пены и наскоро завернувшись в полотенце, с зашкаливающим сердцебиением я вывалилась в коридор. От всех этих волнений и перепадов температур я потеряла сознание. В коридоре стояла тетушка. Она приводила меня в чувства, крича о том, что у меня грязно на кухне и вещи в комнате валяются. Она сказала, что просто проходила мимо и решила заглянуть.

Она приходила по утрам, когда я была с парнем, приходила вечером, когда у меня были гости, а после приноровилась приходить, пока меня нет дома, тоже без предупреждения, и оставлять всюду желчные записочки о том, что мне надо начать нормально питаться.

Ей нравилось меня унижать, чувствуя, что я в зависимом положении и ничего не могу ей ответить: тогда еще мне не хватало уверенности в себе и средствах, чтобы снять другое, более дорогое жилье. Каждый раз после визитов мне становилось невыносимо находиться в этом пространстве. Я была страшно зла на то, что мне делают скидку на аренду, но я доплачиваю и даже переплачиваю эмоционально. Они садились на уши и рассказывали о своем детстве, родственниках, проблемах со здоровьем. Они приходили самоутвердиться и почувствовать себя важными (они ведь проявляют заботу, пусть не вовремя и не к месту).

Поэтому я ни разу не позвонила им после переезда, ни разу не поздравила с праздниками и не спросила о самочувствии. Они о моем не слишком переживали и даже поспособствовали моим неврозам.

Тамара и Лена каждый раз приходили копаться в свою «старую комнату». Я закрывалась у себя за работой, но они без стука входили стоять над душой. Спрашивали, что я делаю, и давали советы. Они переставляли пыльные книги с места на место, жаловались на то, что москвичей в Москве не осталось, а приезжие все время матерятся, и шаркали тапочками. Постоянно шаркали тапочками. Каждый свой монолог они начинали с того, что мне надо с ними гулять на лыжках, а то цвет лица у меня нездоровый.

Я стала ненавидеть этот дом.

В конце, когда тетки уже перестали приходить, почувствовав мой гнев и накапливая свой, когда я уже искала другую квартиру, чтобы снимать ее с подружками, случился еще один дурацкий случай.

Мой приятель преподнес сюрприз: он решил повеситься и одновременно утопиться в ванне. Неразделенная любовь, обида и алкоголь подтолкнули его залечь на дно. Он набрал воды по горло, обмотался душем, затянув его покрепче... Простенькая и дешевая манипуляция стала для меня последней каплей. Вытаскивая его из воды, я поняла, что больше ничего не могу. Что мое терпение закончилось и я умываю руки.

Выпроводив его, я спустилась в магазин. Внизу в подъезде жильцы выставляли ненужные книжки, одежду, цветы. Но в тот раз на почтовых ящиках лежали лекарства. Не умея пройти мимо, я стала копаться в коробке и обнаружила там таблетки от тремора и эпилепсии. Их было много: около двенадцати пачек, срок годности исходил лишь год спустя. Я бестолково вертела в руках упаковки, медленно осознавая, почему я так давно не видела ту милую бабушку-сектантку «Золотого века» с третьего этажа, которая всегда улыбалась и рекомендовала почитать о зомбировании.

В последние месяцы, чтобы как-то скрасить жизнь, я стала звать друзей на семейные ужины. Раз в неделю, по четвергам, мы вчетвером собирались приготовить домашнюю еду и поболтать. Все было хорошо до сезонной депрессии, которая выбила нас из колеи. Последним ужином стал тот, на котором все разругались, рыдали и даже угрожали друг другу холодным кухонным оружием. Шалость не удалась.

За несколько дней до отъезда я стояла на балконе и смотрела, как горят склады. Густой черный дым столбами поднимался в свинцово-серое небо, иногда с фабрики доносились приглушенные взрывы и крики пожарных сирен. В «старой комнате» хлопало от ветра окно. На кухне жужжал холодильник.

В стакане плескался джин, который исполнял мое главное желание – забыть об этом всем как можно скорее.

ЛИДОЧКА

РАССКАЗ

МАРИЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ

Она любила необычные прически и цвета: ее волосы претерпевали химию, каре, ежедневные плойки и выпрямители, фиолетовый, розовый, красный цвет и осветление, но оставались такими же мягкими и шелковистыми. Полнота ей, несомненно, шла, и была следствием скорее наследственности, нежели частых перееданий, однако к сладкому Лидочка была неравнодушна, особенно к розочкам на бисквитных пирожных.

В парикмахерской, где работала Лидочка, все ее любили: девочкам нравилось обмениваться с ней сплетнями, посетительницы с удовольствием слушали ее советы по уходу за собой, а мужчины улыбались и подмигивали, стараясь не показывать правую руку, чтобы не было видно кольца. Лидой ее звала только мама: всегда такая строгая и требовательная к дочери, она не могла понять этого несерьезного отношения к жизни, с которым Лидочка переживала все неурядицы. Одевалась она так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры, как советовали в модных журналах, стопкой сложенных на тумбочке у ее кровати. Никто и никогда не видел ее в брюках: женственная и легкая на подъем Лидочка обожала платья-футляры и юбки с завышенной талией. Вот идет она в платье, на высоких каблуках, с приоткрытым ротиком, с пухлыми, накрашенными розовой помадой губками, а проходящие мужчины оборачиваются ей вслед, забывая все на свете. А дома, просунув ножки в мягкие тапочки в форме собачек, Лидочка брала из холодильника бисквитные пирожные, садилась в большое кресло и смотрела мелодрамы, откусывая от пирожного по чуть-чуть, чтобы оно не казалось таким калорийным. В свои двадцать восемь Лидочка была полностью довольна жизнью.

Однажды Лидочка, надев любимое розовое платье, неспешно шла по тротуару в парикмахерскую, где должна была быть двадцать минут назад. Стояла невыносимая жара, и Лидочка решила купить бутылку воды. Стоя на кассе, спиной она почувствовала, как кто-то пристально на нее смотрит, потому что интуиция ее никогда не подводила. Обернувшись, Лидочка встретилась взглядом с высоким темноволосым мужчиной с выразительными карими глазами. Он смотрел на нее строго, но в то же время улыбался. На нем, несмотря на жару, были офисные черные брюки и такой же черный пиджак с плечиками, подчеркивающий правильную осанку. Во всем его виде чувствовалась уверенность.

– Да? – обратилась к нему Лидочка, похлопывая длинными накрашенными ресницами.

Мужчина, не смутившийся ни на минуту, как это обычно бывает с теми, кто смотрит Лидочке в глаза, непринужденно ответил:

– Можно с вами познакомиться?

В ответ Лидочка хихикнула. В тот день до парикмахерской она так и не дошла.

Мужчину звали Орешников Виталий Алексеевич. В первый же день их с Лидочкой знакомства Орешников пригласил ее в парк, где она, словно ребенок, ела мороженое, зажмурившись от удовольствия. Сам Орешников всегда был таким строгим, казалось, его трудно рассмешить (если вообще возможно). Но Лидочке нравились ежедневные букеты ее любимых белых роз, походы в рестораны, мягкие игрушки и комплименты. Когда они шли по улице и Лидочке вдруг вспоминалась смешная шутка, она заливалась громким визгливым смехом, который Орешников так любил, называя ее ласково «своей хохотушкой». Орешников встречал Лидочку после работы, и подвозил на своей машине до ее дома, и практически ничего о себе не рассказывал, кроме того, что ему тридцать пять лет, всю свою жизнь он живет в Москве, учился в педагогическом и вот уже пять лет читает лекции в институте искусств. Иногда он оставался у Лидочки на всю ночь, и тогда она делилась с ним своими детскими страхами, вроде боязни высоты или пауков в ванной, а Орешников в ответ обещал носить ее на руках и убить всех пауков на свете, после чего Лидочка улыбалась и целовала его в лоб. А днем, в парикмахерской, Лидочка почти не сплетничала, а только говорила, какой Виталечка хороший и что она еще ни разу в жизни не чувствовала чего-то подобного, и девочки отвечали, что она, должно быть, самая счастливая и вот бы им так.

Спустя месяц отношений Орешников стал реже приглашать Лидочку в рестораны, но она не сердилась, понимая, что он, должно быть, устает на работе. Теперь он приходил к ней через день, принося ее любимые пирожные. Иногда Орешников затевал странные разговоры.

– Лидочка, тебе не хотелось бы в колледж пойти?
– Зачем, милый? – спрашивала Лидочка, обнимая его за плечи.
– Ну, ты только одиннадцать классов окончила, а что потом? Курсы парикмахеров? Ведь нужно, Лидочка, учиться. Человек для того и живет, чтобы постигать знания. Вот что ты читаешь? Любишь Достоевского?

В ответ Лидочка смущенно хихикала и целовала Орешникова, после чего он какое-то время не возвращался к этой теме.

А иногда уже она задавала ему вопросы, на которые сложно было ответить:

– Виталечка, а мы поженимся? Если да, то где мы будем жить? А почему ты ни разу не приглашал меня к себе?

Обычно Орешников выбирал из кучи вопросов наименее провокационный:

– Ну, у меня квартира не такая уютная, как твоя. Обещаю: скоро я тебе ее покажу.

И Лидочка на время успокаивалась, обнимая Орешникова так, словно ничего в мире для нее не было важнее.

Одинокими вечерами Лидочка звонила маме, чтобы справиться о ее здоровье, но каждый телефонный разговор заканчивался словами матери о том, что нужно с этим Орешниковым быть осторожнее и что она еще натерпится с таким скрытным и серьезным мужчиной. А потом Лидочка включала очередной фильм, а на ночь читала по двадцать страниц «Идиота».

Спустя три месяца их отношений на Лидочкиной полке, поверх журналов, лежала куча книг: чтобы в любой момент взять нужную и чтобы Виталечка гордился своей умницей. Но Орешников по-прежнему говорил о колледже и о том, как здорово учиться, поэтому еще через месяц Лидочка, договорившись с девочками в парикмахерской, стала работать только по вечерам, а днем посещала занятия в педагогическом колледже. В один из дней Орешников пришел к Лидочке с тремя розами и пирожными. Они смотрели фильм, как вдруг Орешников сказал:

– Ну чего ты, Лидочка, надеваешь такие откровенные платья? Как ни пойдем куда-нибудь, так все мужики пялятся, а я, может, хочу, чтобы только я на тебя смотрел.

И Лидочка вновь хихикала в ответ, а ее шкаф пополнился джинсами и блузками, которые она выбирала вместе с Орешниковым, указывая пальчиком на понравившиеся вещи.

В парикмахерской все девочки с нетерпением ждали от Лидочки подробностей прошедшего вечера, и она обычно говорила:

– Ой, девочки, все было прекрасно, но у меня нет сил рассказывать: устала в колледже. Кстати, нам сегодня прочитали такую интересную лекцию по психологии…

И девочки как-то сразу переставали слушать и вникать в детали, а Лидочка все чаще становилась молчаливой.

Вечерами она читала по сто и более страниц, будь то художественная или научная литература, а иногда просматривала сайт магазина одежды и прикидывала, сколько примерно ей нужно времени, чтобы накопить на темно-коричневый костюм, о котором Орешников как-то обмолвился в один из вечеров. И Лидочка накопила, и, предвкушая радость любимого, сдержанно вручила ему пакет с на-

званием бренда. И улыбнулась на его замечание, что ничего она не понимает в костюмах.

Теперь они виделись все реже и реже. Лидочка звонила Орешникову узнать, как дела и приедет ли он сегодня, на что он извинялся и говорил, что сегодня много работы. И Лидочка по привычке по-детски капризным тоном спрашивала:

– Неужели я сегодня не увижу своего зайчика?

И Орешников строго отвечал:

– Лидочка, я же не в парикмахерской работаю. У меня студенты, ответственность.

И Лидочка желала ему хорошего вечера.

На следующее утро Лидочка проснулась от неприятного ощущения: ее тошнило. Провалявшись в кровати весь день и наглотавшись активированного угля, Лидочка решила позвонить Орешникову, но тот не отвечал. Она легла спать в надежде на то, что завтра будет лучше. Но лучше не становилось всю неделю, и Лидочка отправилась к гинекологу. Вечером она встретила Орешникова ужином, который впервые готовила сама, внимательно водя пальчиком по рецепту в книге.

– У нас будет ребенок! – кинулась Лидочка к нему, но он все стоял и молчал. А потом сказал:

– Слушай, Лидочка. Я встретил в магазине шикарную девушку, а теперь она стала такая… обычная. Нет, не пойми неправильно: было весело, и я… Но ребенок…

Лидочка не слушала: она все поняла. Орешников прочитал это в ее взгляде и ушел, сказав на прощание «прости».

Два дня Лидочка не выходила из дома. Она лежала на диване, глядя в потолок. В голове крутились десятки книг, прочитанные ею за месяц. Об Орешникове она старалась не думать. А на третий день пошла к врачу – и вернулась домой с красными от слез глазами, болью внизу живота и чувством опустошенности.

Прошел месяц. За этот месяц Лидочка дочитала список книг, рекомендованных Орешниковым «для становления ума». Девочки в парикмахерской старались ее избегать, а она не обращала никакого внимания на их шушуканья по поводу того, что без косметики она выглядит лет на сорок. Вечерами Лидочка выслушивала по телефону мамино «а я говорила», читала и смотрелась в зеркало, надеясь увидеть там прежнюю себя, но видела только осунувшуюся женщину с морщинами и мешками под глазами.

Как-то раз у Лидочки стригся один миловидный молодой человек. Она смотрела на его отражение, на его голубые глаза и полные губы и улыбалась. А он просто стригся. И потом – просто сказал «спасибо» и вышел, легонько захлопнув дверь.

Она шла домой, в джинсах и свободной рубашке, укутавшись в свитер и высматривая знакомое лицо в толпе прохожих, опуская глаза каждый раз, когда на нее смотрел проходящий мужчина. Мимо прошли два молодых парня. Спиной она почувствовала, как ей смотрят вслед. Когда она обернулась, один из парней сказал другому:

– Смотри, какая толстуха.

И они рассмеялись.

Ей не было обидно.

Она шла дальше, а потом вдруг остановилась и заплакала. Слезы стекали по ее лицу, теперь уже не такому глупому и несерьезному. Она все плакала, привлекая внимание прохожих. Затем вытерла слезы и пошла домой.

Постепенно все привыкли звать ее Лидой.